

The image features a light cream-colored background with a fine, repeating dot pattern. In the top-left and bottom-left corners, there are large, semi-circular shapes filled with a red halftone dot pattern. The word "КОБЫС" is printed in a bold, red, stylized Cyrillic font on the right side of the page. The letters are thick and blocky, with decorative flourishes on the 'Ы' and 'С'.

КОБЫС

В ЭТОМ НОМЕРЕ

- Александр Котлин. Тёмные гарпии . . . 3
- Леонид Чертков. Смерть поэта . . . 11
- Геннадий Айги. И : через год • Сосны : прощание •
Такие снега • Страницы дружбы . . . 22
- Станислав Красовицкий. Четыре стихотворения . . . 30
- Михаил Соковнин. Обход профессора . . . 34
- Евгений Рейн. Динарий кесаря . . . 49
- Леонард Данильцев. Любовь идиота . . . 55
- Елизавета Мнацаканова. Великое тихое море . . . 62
- Ольга Черемшанова. О злодейском деянии сестры
Евуллы . . . 67
- Л.Ч. Об авторе "Евуллы" . . . 77
- Василий Яновский. О западне . . . 78
- Андрей Амальрик. Художники и коллекционеры в
Москве . . . 81
- В этом номере . . . 96

КОВЧЕГ

Литературный журнал

№ 2

Париж

Под редакцией А. Крона и Н. Бокова

Обложка Ольги Барышевой

Литературная часть составлена Н. Боковым

Произведения авторов, проживающих на территории
Советского Союза, печатаются без их ведома.

с 1978 The Ark and its contributors.

Адреса для переписки :

N. Bokov

Château du Moulin de Senlis, 91230 Montgeron, France

A. Kron

34, rue Popincourt, 75011 Paris, France.

ТЁМНЫЕ ГАРПИИ

Заседание Верховного Совета было приурочено к солнечному закату, и все приглашённые собрались в назначенное время на яхте Великого Вождя. Когда-то предсказание посулило Великому Вождю полную безопасность до тех пор, пока он будет оставаться на палубе судна, и с того времени только вовсе исключительные обстоятельства могли заставить его ступить на землю или сесть на коня. Даже большие походы он предпочитал совершать водным путем, и теперь его яхта стояла на якоре в низовьях Дуная. Шло лето, погода была прекрасной, небо прозрачным, вечер тихим и тёплым.

Обстановка зала совещаний была простой и строгой, мозаичный паркет драгоценного дерева сиял и лоснился, стены задрапированы белым матовым шёлком, семь восковых свечей горели в костяном светильнике, ручной тигр лежал на ковровом диване в углу. Следуя строгой традиции, господствовавшей на яхте, этого тигра кормили мясом военнопленных рабов. Великий Вождь любил его, и, может быть, именно поэтому зверь служил объектом не вполне дозволенных издевательств. Тигр носил какую-то свою кличку, но военачальники в отсутствие Великого Вождя зачастую называли его Александром. Здесь таилась скрытая злая ирония, всегда заставлявшая присутствовавших улыбаться даже при многократном повторении этой шутки. Другая проделка состояла в том, чтобы отдавать тигру приветствие, приличествующее только его хозяину, но это было грубее и опаснее и применялось реже. Впрочем, может быть, Великий Вождь и не разгневался бы, узнав о подобных проделках, — он понимал и ценил остроумие.

Но сегодня было, конечно, не до шуток. Каждый вновь прибывший отдавал присутствующим безмолвный салют и занимал своё место у стола совещания. Большинство вождей было одето в кожаные кирасы в честь недавних побед тринадцатого легиона, считая, что Великому Вождю будет приятно увидеть такое проявление патриотизма. Военачальники сидели молча, — было бы

неприлично разговаривать в отсутствие хозяина. Узкая кипарисовая дверь вела во внутренние помещения, и по обеим сторонам её совершенно неподвижно стояла глухонемая стража. Великий Вождь заставлял ожидать себя.

Неизвестно, что именно задерживало его. О внутренней жизни яхты знали очень мало; ходили слухи, что Великий Вождь любил в надвигавшемся сумраке следить за появлением небесных светил и будто бы именно тогда он и принимал свои решения; говорили также, что он подолгу просиживал перед сосудом с водой, в котором плавали причудливые золотые рыбки. Впрочем, всё это были досужие разговоры, возможно, что его времяпрепровождение было совсем другим, гораздо более прозаичным и обыденным. Как бы то ни было, — ожидание окончилось. Внезапно распахнулась кипарисовая дверь, глухонемая стража скрестила руки в полном безмолвном салюте, и Великий Вождь вошёл в зал заседаний. Видимо, он не слишком уважал собравшихся, так как явился к столу совещания в шёлковом халате, который даже не потрудился застегнуть. Однако он поднял правую руку, приветствуя присутствующих. Все военачальники сразу же повторили его жест, хотя и знали всю опасность такого поступка; теперь каждый солгавший рисковал обратиться против себя всю мощь ливийского заклятья, одной из самых страшных формул современной магии. Затем Великий Вождь сел на свое место и полузакрыв глаза, поза его так же легко могла означать полусон, как и напряжённое внимание. Можно было начинать совещание.

Хранитель Безопасности вёл его, жестом руки предоставляя слово желающим, и естественно, что первым начал говорить Главный Провидец, сообщая присутствующим последние известия с фронта войны. Они были безрадостны. Одно за другим излагались события одно мрачнее другого. Положение в Египте выглядело совершенно безысходным, да и всё остальное везде и всюду было так плохо, что большинство вождей даже слушало невнимательно, настолько неприятным был этот перечень несчастий, собранных вместе. Вожди оживились только тогда, когда Провидец заговорил о тринадцатом легионе.

— Весь металл в долине Евфрата удалось обратить в синеватую пыль. Через одиннадцать тысяч лет эта пыль станет свинцом; конечно, с помощью синайских заклятий можно было бы свернуть этот срок в спираль и добиться такого превращения тотчас же, но надобности в этом нет. В этой синеватой степи наступление тринадцатого легиона, одетого в кожаные кирасы и вооружённого костяными мечами, развивается вполне успешно. Багдад будет взят завтра вечером, шестьдесят тысяч рабов поступят на рынки Арзрума.

Все зашумели, и даже Великий Вождь поднял руку, приветствуя доблестный тринадцатый легион. Но Главный Провидец продолжал: — К сожалению, я не могу закончить этим. Есть ещё два факта, внушающие серьёзные опасения. Хлеб в Минусинской степи желтеет на корню и осыпается, а в Дамаске корова родила трёхглавого телёнка.

— Что известно о будущем? — спросил кто-то.

— Конечно, в обычное время мы, пользуясь винтообразной формулой, легко можем прочитать знаки с обратной стороны на довольно продолжительный срок вперёд. Но сейчас мы переживаем 5209-ый год, а вы хорошо знаете, что перед простыми числами бессильна халдейская мудрость. Мы вынуждены поэтому прибегнуть теперь к значительно менее достоверным способам предсказаний по внутренностям жертв и по полету птиц. Полученные результаты неясны и противоречивы. Наиболее благоразумно сейчас считать будущее вовсе неизвестным.

Главный Провидец закончил, однако и без его доклада всем военачальникам была ясна надвигающаяся катастрофа. Случайная и местная победа тринадцатого легиона ничего не могла изменить в общей судьбе восточного похода. Всё готово было рассыпаться как картонный домик. И перед лицом неизбежного поражения вожди начали один за другим высказываться, излагая свои надежды и опасения. Наиболее обстоятельной была речь Начальника Жатвы. Он начал её издалека, подвергнув сперва обсуждению современные средства борьбы.

— Конечно, наша мудрость и власть над вещами велика, — сказал он, — природа покорна нам, однако не следует обольщаться этой покорностью. Люди всегда стремились управлять вещами и зачастую достигали результатов, казавшихся им удивительными. вспомните, что уже семьдесят веков назад еврейский юноша легко обращал палки в змей и обратно, а мы только недавно и совершенно случайно обнаружили необходимую формулу, оказавшуюся, кстати сказать, совершенно примитивной. Уже более тридцати веков известно, что процесс обычного распада обращает вещи в свинец, а мы до сих пор носим свинцовые перстни — символы спокойствия и вечности. Природа всегда выглядела покорной людям, и всегда эта покорность оказывалась обманчивой. Не так давно, всего несколько веков назад люди осмеливались записывать свои мысли на пергаменте или на камне, совершенно не подозревая, какую власть над собой дают они обладателям нумидийских формул. А теперь мы знаем, что можно даже поднять из гробов трупы и привести их к начертанным ими письменам. Будьте мудры, вожди, и не переоценивайте свою власть. Быть может, наша сила так же

призрачна и таит опасности в себе самой, как и нелепый обычай письма. Известно, конечно, насколько велика сила растущего хлеба, она признается одной из основных сил природы, а теперь хлеб в Минусинской степи осыпается и мы не в силах помешать этому. Подумайте также, что может означать рождение трёхголового тельца именно сейчас, когда знаки будущего закрыты от нас. Но даже если бы нам удалось обезвредить появление этого страшного телёнка, то остается ещё слишком многое. Слишком грозные силы действуют против нас, и, по-моему, наиболее уместным будет признать сейчас общую неудачу восточного похода. Мы можем ещё успеть уйти за линию Геллеспонта и оставаться ещё долго в достаточной безопасности по вполне понятным причинам. Конечно, такое отступление не может пройти безболезненно, несомненно, мы потеряем одиннадцатый Египетский легион, а возможно, и победоносный тринадцатый, но мы вынуждены идти на жертвы. Лучше пожертвовать малым, чем потерять сразу всё. Будьте мудры и осторожны, вожди, — судьба народов зависит от ваших решений.

Эта речь была обдуманной от первого до последнего слова, однако она сразу же встретила возражения со стороны неукротимого Начальника Востока. Этот человек принадлежал к несколько старомодной философской школе, ищущей умеренности путем излишеств, но никакие оргии не были в силах потушить его безграничное честолюбие. Глаза его, обведённые синими кругами, смотрели задорно и насмешливо, речь была неторопливой и сдержанной.

— Нас призывали сейчас к мудрости и осторожности, но это две разные добродетели, и они не всегда совпадают. Будет ли мудро отступить сейчас и обречь на гибель победоносные легионы? Не спорю, судьба как будто действительно готова отвернуться от нас, но ведь вопрос о победе и о поражении решается лишь в сердцах людей и нигде больше. Сознание своей слабости — это ещё лишняя слабость, которую всегда можно избежать. Будем считать себя победителями, как бы неправдоподобно это ни казалось, и будем действовать как сильные!

Многие вожди даже усмехнулись, услышав такое сумасбродное предложение, но Начальник Востока продолжал не смущаясь:

— В битве побеждённым бывает тот, кто первым бросил оружие, а мы даже ещё не использовали своего оружия полностью. Все вы, вероятно, слышали о Тёмных Гарпиях, кое-что известно о них и мне, а теперь не мешало бы поговорить о них подробнее. До сих пор мы не решались использовать их, но сейчас, может быть, нужный момент настал. Пусть Верховный Заклинатель сообщит нам, что можем мы сделать.

Верховный Заклинатель сидел до сих пор молча по левую руку Великого Вождя, теперь он встал, вынужденный отвечать на вопросы. Следуя обычаю своей касты, он не носил ни оружия, ни свинцовых украшений, одежда его была одноцветной.

— Я могу, — сказал он, и всех поразило совершенно неприличное употребление местоимения "я" в доме и в присутствии Великого Вождя. Но Верховный Заклинатель, видимо, не придавал этому значения или же просто был слишком взволнован, — я могу открыть треугольную дверь и продержать её открытой восемь наших секунд, потом закрыть снова.

— И тёмные гарпии ворвутся в неё ?

— Да, они войдут.

— Тёмные гарпии — существа не нашего мира ; как воспримут они обычную для нас власть времён и пространств ?

Верховный Заклинатель отвечал запинаясь, — непреложный закон его касты препятствовал ему говорить ложь, и теперь он с трудом подыскивал слова, наиболее близкие к истине.

— Всё, что известно о природе тёмных гарпий, заставляет предполагать в них совершенно необычайную злобу, — во всяком случае, она намного превосходит доступные нам средства измерения. Но я могу обратить их ярость против наших врагов.

— Что будет тогда ?

— Тёмные гарпии растерзают в клочья живые души наших врагов, а их трупы в многодневной агонии будут пожирать себя и друг друга и только на сороковой день обретут покой.

Вожди начали переглядываться. Общее оживление царило теперь в зале совещания, и даже Великий Вождь приоткрыл глаза и обвел присутствующих взглядом своих жёлтых глаз, одновременно тусклых и пронизывающих. Тёмные гарпии выглядели настолько мощным средством борьбы, что казалось непростительным не сделать попытки их использовать. Однако Начальник Жатвы спросил, и всем сразу же стала понятной полная уместность его вопроса.

— Что будут делать тёмные гарпии потом ?

Теперь Начальник Жатвы от лица всех продолжал расспросы, хотя Верховный Заклинатель отвечал вяло и неохотно.

— Каково бы ни было неистовство тёмных гарпий, мы предлагаем им чудовищную жертву — миллионы живых человеческих душ, и можно надеяться, что злоба их утихнет настолько, что они станут подвластны четырёхмерному заклятию. Тогда будет легко обезвредить их.

— Треугольная дверь будет открыта восемь секунд. Кто ещё может проникнуть в неё ?

— В неё может войти всякий.

— Но кто именно ?

— Это неизвестно. Но тёмные гарпии войдут.

— Давно ли узнали люди о существовании гарпий ?

— Люди знали о них всегда, только раньше их называли иначе.

— Делались ли попытки использовать их ?

— Да, такие попытки производились многократно, но только теперь мы получили возможность действовать уверенно.

— И какие результаты были достигнуты ?

Верховный Заклинатель промолчал, и тогда Начальник Жатвы спросил о другом.

— Хорошо, однако простое утверждение о свирепости тёмных гарпий ещё не вполне ясно, — каждый из нас хотел бы узнать о них больше. Что это такое ? Можно ли их видеть, например ?

— Да, можно.

Такой ответ удивил многих.

— Как можно увидеть существа другого мира ?

— Конечно, они не обладают формой, но человек хорошо воспринимает их внутреннюю сущность и воспроизводит её зрительно.

— И их можно увидеть отсюда, сейчас ?

Верховный Заклинатель ответил утвердительно, и тогда взоры всех обратились на Великого Вождя. Тот поднял голову, оглядел собравшихся и кивнул. Но Верховный Заклинатель не торопился выполнить приказание, костлявое лицо его побелело, лоб покрылся испариной.

— Хорошо, — сказал он наконец в полном унынии, — вы — мудрые люди, вожди, вам повинуются народы, и прежде чем решать что-либо, вы должны увидеть гарпий своими глазами, и я покажу их вам.

Он поднял левую руку, пламя свечей резко метнулось вверх и сузилось в узкие стрелки, в комнате сразу стало темнее. И вот вместо задней стены открылся провал неизвестно куда, заполненный чем-то вроде утреннего тумана, видимого иногда в горах. Этот туман пронёсся мимо глаз наблюдателей, гонимый, казалось, стремительным ветром. Смутной и удручающей тоской веяло оттуда, мельканье и мерцанье тумана действовало раздражающе. Всё сильнее и яростней дул там свирепый ветер, и вот из-за клубов и волокон тумана начало вырисовываться что-то твёрдое и блестящее, подобное несокрушимой стене, преграждающей дальнейший путь. В этом зрелище не было ещё ничего удивительного, большинство

вождей не раз уже ранее присутствовало на чародействах и видело эту белую твёрдую поверхность, ибо такой, по большей части, представляется человеческим глазам граница шестого неба. Она в самом деле была несокрушима, девяносто веков магия тщетно пыталась проникнуть за её пределы. Но сейчас, по-видимому, действовали более мощные заклятья : чудовищный вихрь окончательно разогнал туман, мельканье его сделалось почти незаметным, шестое небо, обнаженное и великолепное, предстало в своём ослепительном блеске. Но и этот блеск начинал меркнуть, теперь оно сделалось подобным матовому стеклу, и становилось очевидным, что оно может приобрести и полную прозрачность. Постепенно из-за него начинали проникать образы другого, чудовищного мира. Тёмные гарпии реяли там, отделённые только хрустальным шестым небом, которое вовсе не казалось надёжной защитой. Острый ужас овладел присутствующими, глухонемая стража попадала на пол и кричала дико и пронзительно, полосатый Александр поднял голову и завыл почти по-собачьи, только зубы некоторых стучали, кто-то резко откинулся в кресле, да Хранитель Безопасности, схватившись обеими руками за грудь, с треском разорвал на себе кожаную кирасу (физическая сила этого человека была поистине необыкновенной).

Может быть, Верховный Заклинатель переоценил кладнокровие и мужество вождей. Великие теоретики, авторы страшных формул и заклятий, всегда готовили себя к встрече с неожиданным путём строгой и долгой школы поста и воздержания, для непосвященных же, даже для могучих вождей, такое зрелище могло оказаться губительным. Но чародейство окончилось, провал заволокло белым дымом, пламя свечей вновь вспыхнуло ярко, Верховный Заклинатель сел на своё место усталый и бледный. Наконец, утихли вопли глухонемых и вой тигра ; можно было бы продолжать совещание, но смятение среди вождей всё ещё продолжалось. Начальник Востока опустил на руки свою белую, внезапно поседевшую голову, Начальник Жатвы рядом с ним сидел откинувшись, с оскаленными зубами и остекленевшим взглядом, и некому было приказать оттащить его труп. Тогда встал и заговорил Хранитель Безопасности, страшный и всклокоченный в разорванной на груди кирасе.

— Горе, горе и горе смертным ! — воскликнул он. — Мы живём на земле слепы и беспомощны, тёмный мир окружает нас. Как смеем мы смотреть на солнце, есть свой хлеб и рожать детей, если гнусные гарпии реют над нами. Разве смех, радость и спокойствие возможны для нас после того, что мы только что видели. Наше оружие не под силу нам ! Бросим всё, уйдём в Карпаты, будем сеять рожь и пасти овец, как сто веков назад...

Хранитель Безопасности говорил бы еще долго, но Начальник Востока перебил его. Он успел уже овладеть собой, тон его слов был вполне спокоен, даже слегка насмешлив, и только неожиданно поседевшая голова свидетельствовала о пережитом испытании.

— Мы выслушали сейчас речь предыдущего оратора, высказанную в совершенно библейском духе. Видимо, на него слишком подействовало поучительное зрелище, продемонстрированное нам сейчас. Но не будем осуждать его за недостаток мужества, ведь некоторые из нас оказались ещё более слабонервными, — Начальник Востока кивнул в сторону трупа, сидевшего рядом с ним, — не будем же осуждать Хранителя Безопасности, тем более, что он сказал правду. Смертным, видимо, не дозволено преступать границы шестого неба. Мы смертные люди, и мы вели и должны вести войну силами и способами смертных. В наших руках всегда были и останутся меч, яд и заклятье, нам и не нужно ничего больше. И если даже мы и проиграем войну, то проиграем ее как люди. Лучше быть рабом в Египте, чем призвать в союзники тех, кого мы только что видели.

Начальник Востока замолчал, молчали и все. Всё было ясно и без слов. Это были вожди, проигравшие великую войну и безропотно носящие уже цепи своего будущего рабства. Оставалось еще сформулировать приказ об отступлении за линию Геллеспонта, чтобы пользоваться ещё некоторое время властью и почестями, а затем... Вдруг все оглянулись. Великий Вождь, присутствие которого как-то забылось, встал со своего места и стоял теперь во весь рост перед продолжавшими сидеть военачальниками. Халат его распахнулся, треугольная голова гордо возвышалась над впалой грудью, жёлтые глаза смотрели широко и хищно, рот был окровавлен — он прокусил себе губы во время чародейства.

— Я призвал вас сюда, вожди, и вы обменялись своими мнениями. Я выслушал вас. Вы мудры, вожди, но то, что вы сказали здесь, вовсе неверно. Никакого приказа об отступлении не будет, ибо победа в борьбе принадлежит только нам. Властью, данной мне богом моим, — Великий Вождь употребил старомодную формулировку, — властью, данной мне богом моим, завтра в полночь я впускать тёмных гарпий в мир.

1938

Леонид Чертков

СМЕРТЬ ПОЭТА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Женщина неожиданно заплакала во сне и проснулась. Нельзя было понять, что её разбудило. Но, по-видимому, что-то произошло. Потому что горел ночник, и человек, спавший с нею рядом, теперь сидел на краю кровати и молча курил. На его лице, видимом ей теперь вполоборота, выступили мелкие капли испарины. И непривычно громко тикали часы. Потом позвонили — громко, с нажимом и, видимо, не в первый раз. Наконец мужчина поднялся, взял что-то с ночного столика и прошёл в переднюю. И огромная его тень, занявшая на мгновение все три стены, вышла сразу за ним. А женщина лежала и тихонько всхлипывала, тщетно пытаясь вспомнить, что ей приснилось. В комнате было почти душно, и по стеклу портрета, висевшего в тёмном углу, изредка проходили световые отражения с улицы. В передней послышался резкий шум, окрик, и в ту же минуту квартира наполнилась людьми. Вспыхнул свет. И в спальню вошел человек в форме, молча достал из кобуры наган, положил его в фуражку и сел около двери. Так прошёл час. Муж всё время находился в гостиной, и ей лишь изредка был слышен его голос. Она сама не заметила, как задремала, и пробудилась лишь от нового шума. Когда он почти силой вошёл в спальню и, приподняв с подушек, поцеловал её в лицо. Хлопнувшая в прихожей дверь как бы обдала её холодом, и во внезапно наступившей тишине из-за стены ей послышался обрывок возбуждённого разговора.

Дальнейший путь надолго запал ему в память. Они миновали сложную систему плохо освещённых подъездов. И сырой, резкий, весенний и словно бы морской ветер с Москва-реки вынес их наружу. Он бросил взгляд на кривую булыжную перспективу переулка, на мигнувшие вдалеке огни набережной, на парочку, мгновенно обнявшуюся под фонарём. И тяжёлая дверь отсека разом отрезала от него эту действительность. Машина струнулась, и его ночное странствие продолжилось — в тряске, внезапном задрёмывании и

одуревании от просачивающегося бензина. В сетке наверху билась крохотная лампочка, бросавшая тусклый отсвет на узкие выщербленные стенки, а когда он, почувствовав присутствие других людей в соседних конвертах, толкнулся было туда — сидевшие там затаились, — но зато мгновенно лягнул замок, и молодой солдат в будёновке что-то хрипло выкрикнул ему в лицо, качнув на него штыком. Спокойствие восстановилось, и он вновь погрузился в смутную дремоту, не прерывавшуюся уже до места назначения. И лишь каким-то внешним чутьём он сознавал, что машина петляет, неуловимо путаясь в переулках, и когда маршрут её стал совсем непонятен, она неожиданно куда-то нырнула и разом остановилась.

И всё то время, что его вели по бесконечным коридорам, поднимали и опускали в герметически закупоренных лифтах, заводили в угловые боксы, заставляли раздеваться и наконец оставили одного, — он, чтобы как-то отвлечь себя от того, что с ним происходит, — беспорядочно припоминал различные отношения, объединявшие его с теми или иными людьми. Последние годы жизнь его протекала в совершенно ином направлении, и он уже с полным правом мог считать себя бывшим поэтом. И когда он вновь после большого перерыва начал писать, он уже как-то утратил уверенность и внутренний слух, и уже не мог отдать себе отчёта — стоит ли чего-нибудь то, что он делает, поэзия ли это? А людей, с которыми его некогда связало совместное вступление в литературу, он не видел годами. Одного из них — того, которого уже несколько лет не было в Москве, он встретил в последний раз на Моховой. И так как вечер был свободен, а домой не хотелось, они решили немного пройтись. Стояли светлые летние сумерки, и Москва в тот день была особенно хороша. Из Замоскворечья скорее угадывался, чем доносился тоненький колокольный звон. И странная непричастность великого города к тому, что в нём вершилось, чувствовалась во всём. Они миновали Морозовский особняк и решили подняться на крышу "Праги". Под тентом было прохладно, было далеко видно, и лишь мелкая заводская гарь, доносимая ветром, явственно поскрипывала под ногами. За чуть похожей на пагоду станцией метрополитена закрывался майский базар, а дальше, на горизонте сияли золотые орлы Кремля, раздваивалась лента реки и бледные столбы прожекторов подпирали углы сумеречного неба. А прямо под ними по площади передвигались огромные толпы гуляющих — в панاماх и входивших только в моду испанках, в толстовках и косоворотках, в платочках и косынках, с флажками и шариками в руках и значками в петлицах — отдыхающие служащие и принарядившиеся рабочие. Настроение у людей было истерически праздничным — утром

прошла демонстрация, и в этот предпоследний день торжества людям уже некуда было себя девать. На эстраде выступал модный, под Варламова, джаз, и два интуриста, разместившиеся неподалёку, завершали картину. Когда они сели за дальним столиком, и в стоявшем над ними комнатном фикусе тоненько заныл комар, тот, которого уже нет в Москве, захлёбываясь и одновременно озираясь на ближайшие столики, но ничуть не понижая голоса, стал читать одну за другой свои последние вещи. И хотя это были в большинстве не слишком удачные политические стихи, и настоящие строки, как всё чаще теперь, тонули в поспешном и торопливом наборе слов — мысли, сквозившие в них, поневоле останавливали на себе внимание. Потому что за всем этим чувствовалось что-то такое, ради чего, может быть, следовало жить. А когда веранду закрыли, они ещё долго бродили по звонким опустевшим тротуарам, провожая друг друга.

А воротившись домой, он снова обратился к пробуждённым этой встрече мыслям. Собственно, новыми они казались только теперь. Ибо в своё время, когда вопрос выбора встал жёстко как никогда, — он был сделан единожды, бесповоротно, и казалось, что навсегда. И вот после того, как выбор был сделан и уже многое было позади, он был внезапно узан на одном из южных вокзалов. А дальше уже всё смешивалось — контрразведка, малярия и отречение. Которое он написал, внутренне не отрекаясь. И о чём почти что забыл. Но теперь прошло много лет, и исподволь сложившийся у него в последнее время хаотический комплекс понятий стал наконец ошутимо расшатывать то мощное литое здание, которое он своими руками возвёл когда-то. И которое окончательно рухнуло в то позднее утро, когда он подошел к запотевшему от измороси окну и, протерев его рукавом, посмотрел на мокрую отсвечивающую мостовую и понял, что сегодня уже никуда не пойдёт. Задрезжал телефон и, поняв, кто это звонит, он накрыл телефон подушкой и вышел из комнаты. И хотя ему меньше всего хотелось видеть теперь этого человека, он встретил его на следующий же день. Тот окликнул его у "Востоккино" из окошка автомобиля, где он сидел большой, грузный, а рядом на сиденьи лежал толстый жёлтый портфель со множеством застёжек, который он вывез из немецкой командировки. Молча выслушав всё, что ему было сказано в окошко автомобиля о парткомиссии и других инстанциях, бывший поэт с облегчением с ним простился. Тот спешил на ответственное совещание. Вплотную они больше не сталкивались. Но сейчас он вспомнил, как незадолго перед тем они вместе ездили в составе делегации на известный теперь всему миру завод, тогда еще незначительную новостройку. На голом солончаке стояли вразброс нелепо угловатые коробки

незаконченных корпусов, и инженер с птичьим профилем, бегая впереди всех, взволнованно объяснял что-то, показывая на земле руками. С утра шел нескончаемый дождь. И сырые (похожие на куски мяса) стены уже начинали крошиться, и комбинат чем-то походил на разорённый войной. Работа шла, в общем, вручную. И начальник строительства что-то горячо доказывал с наспех сколоченной трибуны, а в глазах рабочего, стоявшего на расплывающейся глиняной глыбе ближе всех к ним, нельзя было прочесть ничего, кроме усталости и равнодушия. А они стояли кучкой за спиной говорившего, который снял шапку и размахивал ею по ветру. И в лицо им бил мелкий отвратительный дождь.

И вот когда он снял и спрятал, чтобы никогда уже не одевать, свой полувойенный френч, и переделся в штатское — всё, чем он жил эти годы, разом отступило от него, и когда он встречал своих недавних товарищей и сослуживцев, ему не о чём было говорить с ними. Исключение как-то внутренне освободило его от того, что невидимо тяготило и деформировало его все эти годы. И внезапный порыв к творчеству снова вошел в него. Наверное, неосознанная неудовлетворённость сидела в нём уже давно. Раньше он старался как-то отвлечься и, уйдя из литературы, как наркотом, опаивал себя работой, носясь по стране и редактируя бесчисленные журналы — постоянная жажда деятельности, кидавшая его из стороны в сторону. Но вот теперь тот неразделимый клубок мыслей всё чаще олицетворялся, обретая реальность, и он уже различал внутри него отдельные — новые и давно знакомые лица — и до пота и слёз спорил с ними в контуженном сне, и пробуждался задыхающийся, когда жена испуганно светила ночником ему в лицо, а из соседней квартиры на крик приходил муж её сестры. И хотя прошло уже несколько лет, как того не стало, и он с другими нёс его гроб и потом издал о нём книгу, он до сих пор не мог выявить в себе определённого отношения к этому человеку. Их связывало старое знакомство, приятельство и вот теперь даже родство. Наконец, литературное направление. Это был один из немногих, кто называл бывшего поэта своим учителем (хотя что-то и заставляло сомневаться в его ученичестве). Несколько лет они жили вместе — через стенку. И о нём самом вспоминали уже только в связи с тем, и приглашения попутно заносились и ему, тоже поэту. Он был кем-то вроде давно не практикующего врача. Было и ещё что-то между ними. Но главное было, пожалуй, в том, что слишком безоговорочно ученик верил в то, от чего учитель внутренне отходил. То, что каждый инстинктивно старался скрыть от себя и другого. Однако последняя встреча как-то примирила их. Стояло безводное палящее лето. Они

собирались на охоту, но в тот раз так и не поехали. И именно в этот день они оказались как никогда близки друг другу. Всё стоявшее между ними незаметно исчезло. Не было ничего, просто была дача, лето, семья и старый друг, приехавший в эту семью. Так и осталось это воспоминание, как на жёлтой, выцветшей от времени довоенной фотографии. Они сидят друг против друга за столом в саду. Их распаренные остановившиеся лица покрыты платками. А на столе — огромный шмат сотового мёда. А вокруг нескончаемым роем носятся пчёлы. И жалят, жалят их всех. Салфетки. Миска с садовой клубникой. Ноющие пчёлы. Мёд. И трагический колорит этого, может быть, последнего спокойного лета, в самой своей безмятежности скрывавшего что-то щемящее и тревожное, перед чем все они были одинаково бессильны. Это было ни на что не похожее время, время ложной переоценки ценностей, победоносных теорий и преждевременного синтеза. И люди, ещё несшие что-то в себе, терялись, ломали и переубеждали себя, и время, железного гула которого они не могли уже вынести, загипнотизировав, глотало их, как удав.

Самого своего старого и лучшего друга он встретил в мае на стадионе. Они стояли под его бетонным навесом, и тяжёлый (словно термоядерный) ливень, заканчиваясь, стекал с их разбухших, как грибы, шляп и бежал по их блестящим от пота и воды лицам. Старый друг был так обескуражен встречей, что стало ясно, как давно он её избегает. Некоторое время было неловкое молчание. Потом его собеседник быстро заговорил — он перечислял составы команд, сыпал спортивными терминами — он был совершенно в курсе дела. А бывший поэт молча курил, а потом неожиданно взглянул на него в упор и увидел, как в глазах у того испуганным зайцем заметался, пульсируя, сгусток какого-то беспричинного доисторического страха. И стало ясно, что друг его панически боится, и не только его, но и себя, и всего вокруг. — Да, конечно, — сказал поэт, не дослушав, и резко поднялся, и когда посмотрел сверху на сидевшего, тот показался ему совсем маленьким, — наверное, таким же тот показался и себе. Они простились, и его друг вложил в это последнее, как оба поняли, рукопожатие больше, чем мог сказать. И выходя со стадиона, он припомнил то многое, что долгие годы связывало его с этим человеком, и сам не заметил, как вычеркнул его из своей памяти.

Иногда он видел лето своего детства. Густое малороссийское лето, доверху напоённое тяжёлым запахом цветущей гречи. Грибки ульев и отдалённая фигура пасечника с шестом на пригорке среди толпы опылённых деревьев. Горячий песок, синее до фиолетовости

небо, узкая шершавая серебристая листва можжевельника и острая царапающая трава по балкам. Ночёвки в одуряющей пене стогов, сутки без конца и начала.

Хутор Дегтярёвка. Снова он попал сюда уже в гражданскую. Он не был здесь всего около года, а показалось — столетие. Он прибыл сюда продкомиссаром за конфискацией хлеба. И отделившись от остальных, он прошёл между облупившихся белёных столбов усадьбы — всего, что оставалось от сорванных тачанками ворот, и по вырубленной аллее вошел в бывшее своё имение. А потом наклонился, чтобы что-то поднять, и пропустил мимо ушей треснувшие под боком выстрелы. И сразу увидел сначала замершую, а затем яростно прынувшую на него ораву ревущих, пропахших сивухой мужиков — и его, бешено сопротивляющегося, притиснули к краю амбара — и качающееся (оттого, что целившийся был вдребезги пьян) дуло берданки приблизилось было к самому его лбу, и он закрылся руками — и потерял кисть, а впоследствии началась гангрена. А ночью, когда выселки спали, миновав мужиков, валявшихся прямо на улице в это бездомное, голодное и палящее лето, он выбрался по окрестностям, которые знал как никто, минуя петлюровские посты. И он один уцелел тогда, в этот давний день девятнадцатого года. Но даже теперь, когда он, казалось, прозрел и увидел обе стороны уравниения, вспоминая этих обманутых и разорённых мужиков, он почему-то не мог отвлечься от своей личной к ним ненависти. Но теперь объект этой неприязни неприметно расширился, и уже между ними мелькали и лица тех, кто недавно ещё был рядом. Людей в португелях с большими расплюснутыми бляхами и пятаками орденов первых лет революции в фантастических полугусарских с "разговорами" мундирах, словно порождённых необыкновенностью времени, молодо и самоуверенно смотрящих с обломанных снимков, картинно опершись на эфес сабли. Как и он сам.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Проходит время, — идеи, некогда одушевлявшие людей, испаряются без следа, — и для взгляда последующих поколений остаются только их дела и поступки во всем их безмерном и удручающем безобразии.

Хорошо налаженная машина следственного аппарата в скором времени закончила свою работу, и ещё одна человеческая единица продолжила своё странствование по внутренним водам советской

юстиции. В вагон их погрузили гуртом. Это был не обычный вагон-зак, прицеплявшийся к поездам дальнего следования, а звено огромного эшелона, битком набитого врагами народа. Страна переживала большие события. Он находился среди смятённых, растерянных, раздавленных людей, готовых сделать что угодно, но так и не сумевших понять, чего от них ждут. Протеста, еще иногда проявлявшегося во время ареста и следствия, не было теперь и следа. Всё свалившееся на них они восприняли как Божью грозу. Это был совершенно новый тип политических заключённых, не имевший ничего общего с тем озлобленным контингентом, которым наполнялись лагеря ещё несколько лет назад. Теперь же это были лояльные страдалцы, сохранившие в ещё большей чистоте те же убеждения, что и загнавшие их сюда. И именно потому, что они в сущности ничем не отличались от тех других, они были обречены питаемой к ним ненавистью. Они были фатально неспособны (даже теперь, когда были лишены всего) как-то отойти в сторону и попытаться понять, что же происходит. Каждый поодиночке был убежден, что именно по отношению к нему была допущена ошибка, которая скоро обязательно разъяснится, и каждый считал, что истинный враг — это его сосед, сохраняя всю непримиримость своего вчерашнего положения. Некогда одурманившая их идея держала своих пасынков крепко, как пуповина. На следствии они без конца предавали друг друга, надеясь на так никогда и не пришедшее снисхождение. В них появилось даже какое-то чванство поверженного, когда каждое слово, направленное против власти, воспринималось ими как личное оскорбление. Они гордились перед собою своей лояльностью. И именно поэтому меч, павший на них, был неотвратим. Людей, понимавших подлинное существование событий, среди них не было. Как не было их нигде. Ибо время их ещё не пришло. Люди более чем когда-либо были игрушками в руках судьбы, но сквозь кровавый хаос этих лет вырисовывались черты какой-то страшной в своей непреклонности и нечеловеческой справедливости Немезиды. Вдумывавшихся и пытавшихся найти верную линию поведения были единицы. В большинстве же поражало отсутствие естественной человеческой реакции — хоть какого-нибудь признака возмущения. Превалировала готовность подчиниться всему и даже подавлять в своей среде недовольство. "Традиции политических" — ибо вскоре, осмотревшись, они называли себя уже так, — с какой радостью отказались бы они от этого креста, но они попали в эту заваруху точно так же, как лунатик падает с крыши, и лишь пытались сохранить остатки самоуважения. И была лишь горечь и скорбь от того, что их не оценили по достоинству. Было среди них и младшее поколение. Те, кто только пытался найти себя в институтских

коридорах и курилках библиотек. Чтобы после одним ударом прервать биографию на двадцать лет или не вернуться вовсе. Чей неуловимый и навсегда исчезнувший облик едва вырисовывается нам из атмосферы тех лет. Те, кто могли бы быть нашими старшими братьями или даже отцами. — Поколение, чьи немногочисленные остатки похода распотала война. И теперь они глядят на нас как с полупроявленной плёнки — чёрные скелеты лиц с белыми оскалами ртов и глазных впадин. Не оставившие по себе памяти...

Везли их неправдоподобно долго — через всю страну. Они встречали поросшие сосняком горы, водоразделы, безбрежные горизонты лесов, реки, широкие, как проливы, дебаркадеры и лесосплавы. Поезд проходил бесчисленные слепые туннели, и тогда в крохотный глазок, через который они поочередно выглядывали, летела сухая горячая зола, обжигавшая их вспотевшие лица, и черный от гари лоскут занавески трепетал от ровного подземного ветерка. А позднее лето пекло, и когда поезд наконец выносило наружу — заходящее солнце било им в глаза, от жара некуда было деваться, и люди сидели скрючившись с красными разгоряченными лицами и молча пили пустой кипяток. Железные прутья решетчатой двери накалялись так, что больно было за них взяться, и люди лежали вповалку так, что нечем было дышать. А поезд шел медленно-медленно, и слышно было, как редко перестукиваются колёса на стыках, и когда просыпались от короткого тяжёлого забытья — всё казалось (в смутной надежде), что поезд идет не туда. И дороги, которыми они двигались к своей уже неотъемлемой вечности, мелькали сквозь них беспорядочной чересполосицей пейзажей и стрельбищ. Иногда состав останавливался и стоял закрытый часами. А потом всех выгоняли наружу — для чисто формальной проверки — в наиболее глухих местах. И это была возможность наконец размять ноги и по-человечески (то есть тут же, на глазах у всех) оправиться. И иногда вдруг делалось слышно, как в разом захолонувшем лёгкие бездонном просторе из конца в конец перекачивалось скрипенье колодезного блока из бурятского села, и поплавок снова звонкий колоколец девичьего голоса, словно наливавший собой упругое пространство, где в неясных частицах тумана и солнца безгранно растекалась оливковая полынья леса. Теперь они приучались ценить все те мелочи, которых прежде не замечали. Потом раздавался резкий, хватавший за сердце свисток, доносился горький и вместе с тем чем-то приятный запах паровозного дыма, и поезд шёл дальше. А когда они наконец прибыли к месту назначения — хотя никто не объявлял его — все вдруг полезли на спины друг к другу, не обращая внимания на

окрики охраны, стараясь заглянуть в оконце. Когда из розовато-молочного утреннего тумана отчётливо вырисовались рубленые деревянные частоколы и постройки острожного городка. А вокруг стояла пёстрая дальневосточная осень, и на путях, занесённых ранней яркой палой листвой, стояли колонны солдат. И когда из разбросанного за путями горнозаводского посёлка подали голос редкие собаки и вырвался безвременный крик петуха, все с неожиданной ясностью поняли, что всё здесь остановилось, и им придется провести здесь очень долгое время — всю жизнь.

Вскоре он понял, что оставшиеся на воле уже считают его и остальных несуществующими, и ему самому уже было трудно поверить, что в жизни у него ещё будут какие-то мелкие горести, радости и переживания. Всё последнее время он находился как бы на грани двух сред разной плотности, и всё существо его было устойчиво поделено на две неравные части. Как опущенное в воду весло. Но вот настал момент, когда он плотностью перешел в более плотную среду. И образы людей, когда-то ему близких, блекли как тени и, канув один за другим, сходили в небытие. И судьба его вновь растворилась в судьбе людей его поколения, и ещё раз литература отошла от него. И новая, ни на что не похожая реальность властно обступила его. И потекло немерянное календарями лагерное существование. Подобно всем он облачился в казённую одежду и начал измерять дни временем разводов, еды и работы. Лишь теперь он понял, что был сильно немолод, и у него появилась непрекращающаяся потребность в отдыхе. И возвращаясь с работы, он ложился на койку — и лежал часами, не думая ни о чём. Читать ему не хотелось, изредка он брал какую-нибудь книгу и не глядя перелистывал и поглаживал страницы, словно с ними у него были связаны какие-то приятные, но отдалённые воспоминания. На ночь барак запирался. Сперва его это тяготило, но потом даже как-то успокоило. Вообще он понял, что все категории и мерки, которыми он жил на воле, здесь совершенно неприменимы, — ибо здесь действовали в конечном счёте более простые и общечеловеческие законы. Хотя он жил среди своих сверстников, он чувствовал себя отгороженным и говорить ему с ними было не о чем. Что он сам думал — он не знал. Но какие-то глубинные процессы в нём, по-видимому, происходили. Так прошло около полугода. А потом пошли разговоры о комиссии, и комиссия не замедлила приехать и так же скоро уехала. И назавтра о ней позабыли. Но однажды был объявлен этап. Контингент в него подобрали преимущественно нетрудоспособный. В том числе был и он. Этап никого особенно не

встревожил, так как лагерь находился недалеко от залива, через который проходил великий путь на Колыму.

Он был даже рад смене обстановки. И когда их вывели на линию, на него пахнуло, казалось, давно уже не виденной свободой. Затем их погрузили в товарный состав и повезли на восток. Когда поезд остановился, их вывели на свежевывапавший снег. Конвойные стояли далеко вокруг и жгли костры. И издали доносился треск и грохот, как бы с огромного лесоповала. Пересчитав, их погнали на сопку, за которой открывался огромный проём заснеженного пространства. Но когда они перевалили на другую её сторону, — в лицо им ударил, заставив захлебнуться, поток студёного воздуха с бескрайнего водного зеркала Охотского моря, покрытого у поверхности стелющимся туманом. У самых берегов море замёрзло. И лишь кое-где сквозь тонкий лёд проступали полыньи. Но там вдалеке, куда ещё доставал глаз, волны разбивались о далеко выдававшиеся в море скалистые края бухты. И море откатывалось, оставляя на мёрзлых камнях зеленоватые склизкие водоросли и мелких окоченевших рачков. И где-то у самой черты горизонта маячила чёрная точка баркаса. Людей погнали на лёд. Солдаты с собаками двигались по краям, осторожно ступая по некрепкому льду несколько сзади. Люди шли, спотыкались и падали. Под одним из шедших впереди лёд беззвучно подломился, и он с поднятыми от неожиданности руками разом ушёл под воду. Все на мгновение замерли, но сейчас же, не дожидаясь команды, двинулись в обход раздавшейся и вибрировавшей полыньи. Дул пронизывающий резкий ветер, с людей срывало шапки и относило сразу так далеко, что нечего было и думать вернуться за ними. Чёрный сгусток на горизонте предвещал бурю. А люди шли по какой-то странной инерции, ибо красноармейцы в нахлобученных на лицо будёновках и в завязанных по глаза башлыках сами боялись идти, и ничего не стоило остановиться. Но люди шли и тонули. А когда приблизились к баркасу и через широкую полосу синей рябящей воды были проложены понтоны и наматы, и люди стали карабкаться на баркас, вплотную придвинулись сумерки. И ветер был так силен, что старый баркас раскачивало, и он, казалось, вот-вот опрокинется. На борту стояло ещё несколько человек охраны, которые каждого поднимавшегося проталкивали дальше к трюму. Вдалеке вспыхнул огонёк буксирного судна. А озябшие, продрогшие до костей люди заползали в тёмные сырые углы, пропахшие мазутом и рыбой, радуясь тому, что здесь почти не чувствовалось ветра и можно было лежать не двигаясь. А потом, когда баркас, качнувшись ещё, стронулся с места, странно вихляясь, словно по ветру, — в трюме, в людском его дыхании стало сразу как-то уютней. Где-то заговорили,

задымили, зажевали. А допотопный баркас всё вихлялся, и каждый в глубине души понимал, что моря ему не пересечь. Но думать об этом никому особенно не хотелось. И многие под неумолчное движение воды переставали обращать на всё внимание и постепенно задрёмывали. Забылся и он. Тяжким непробуждаемым сном. А когда очнулся, прошло уже Бог знает сколько времени. И в трюме царила странная тишина, прерываемая лишь отдалённым шумом. Еще не открывая глаз, он понял, что баркас бросает как щепку, и услышал, как во всех углах хлещут потоки воды и дуют бесчисленные сквозняки. В трюме не было ни души, лишь кое-где вырисовывались бесформенные кучи тряпья и били словно светящиеся струи пробоин. Тело сводила непереносимая ломота, и начинало мутить. А когда он с трудом поднялся и с болью расправил застывшие мускулы, он увидел прямо над собой зияющую в предрассветное небо квадратную дыру люка. А когда, едва держась на ногах, — ибо баркас швыряло, — выбрался наверх, — то увидел в свете чудом уцелевшего фонаря, смешанном с едва начинавшимся рассветом, — странную картину. Не было ничего — ни палубы, ни снастей, ни охраны, ни лодок, ни буксира на горизонте. И лишь вокруг ещё державшейся рубки от борта к борту перекатывались валики морской пены. И в углах света кое-где прилепились безжизненные фигурки людей, ещё не смытых водой. Кое-как он добрался до остова рубки и, рванув на себя дверь, увидел ещё нескольких, безвольно перебрасываемых из угла в угол. Море мало-помалу успокаивалось, и судно всё равномернее набиралось воды. И последние тёплые хлопья снега таяли на тёмной шоколадной поверхности зимнего океана. И когда в последний раз сквозь тучи неожиданно высверкнуло солнце и отброшенные им пятна, полосы и квадраты расцветили бесформенность окружающего, было ещё видно, как человек в развевающихся лохмотьях стоял на борту, вцепившись в него своей единственной рукой, и на его лысую голову падали крупные капли бури. И в каком-то вдохновенном исступлении он выкрикивал в равнодушное пространство, не слышимый никому на свете, свой нескончаемый монолог, свои последние и самые лучшие стихи. Он был совершенно свободен.

1959

Геннадий Айги

И : ЧЕРЕЗ ГОД

(После гибели друга)

Тем, кто знает.

Час ночи.

В это время о н спал.

Спали и т е.

Предстояло : пробуждение, завтрак, обед.

Кое-какие дела. Метро и автобусы. (Автомашины, — кое-что *подправлять*).

Хождения. Шаги.

Я в н о с т ь с к р ы т о г о в д у ш и — все более явно — бралась.

Пустяки — в организмах (жизненно-важные). В карманах — и т о, и вещички ”обычные”.

Ш л о. (Сосчитать уже можно шаги).

(Двое : в и д и т с я ясно. Кем ? — да У л и ч н ы м
В о з д у х о м !).

Дышащие.

Мелочи, жидкости (жизнь-автономия).

Шаги — в башмаках. (Та же будет и позже — одежда).

Застежки, ремни, — как у всех (в жизни все пригодится и после).

Я в н о с т ь т о г о — все ускоренней — в д у ш а х (на всю, — объясняют, — ... Вселенную... — мозгом читали такое уверенно-громкое).

Лифт. Аморфная слитность мгновений. (Можно понять и как числа-секунды).

Шаги.

(Надолго — ускоренно-гулко).

Год. 26-го. Час ночи.

Спят. Пустяки — в организмах (само-рост-и-развитие).
Вещички. Зажигалка. "ВТ". (Или "Прима"). "Дымок".
(Безошибочно видит — о к н о).

Муть-года-сплошного. Пустяки — словно мелочь в карманах.
Как в складках — пыль, чепуха, крохи физиологии.

В воздухе что-то — к утру.

(К Р И К).

"Жизнь уж проходит..." На-"S".

Ярко — не будет.

День — как-Ослепшее-Высшее. (И Т о м у — н а д о т а к ж е).
(Легко — как набросить халат).

Как, после ванны, комочки еще — по себе — растирать : то ли
тело свое, то ли вещь посторонняя.

Самый легчайший (можно запеть) для укрытия мир.

(Ясность. Не весь — из комочков).

(Кретин Карандашный). Мгновенно — дыра. Не такое еще
выплывает из нас (мы — Страною-Туманом) при виде таких.

А — как-то вот : В и д и т с я !... — Светом ? (На— "S" !) — а
хотя бы и : В о з д у х о м ! (Зренье — как раз — для Спец-Дома).

Год.

("Юбилей" — и для вас).

26 апреля 1977-

СОСНЫ : ПРОЩАНЬЕ

Пора, чтоб Просто (Солнце — Просто).

И таково — Прощанье (словно Очное — в равно-вмещающее
Око-Душу : Солнце).

И вы — не только Гул и Величавость. Вы, вместе с Солнцем,
были соответствием — Сиянью Простоты за Миром :

Любовь
(не наша) —

это — нет :

(Сияя) :

смерти —

(столь простой, что : нет).

1977

ТАКИЕ СНЕГА

М.А.

я писал бы всю жизнь
" Чистота Белизна " —
возникало б как шепот как ветер световой утешенье — прекрасное
малостью :

— для себя — мне достаточно этого... —

(жизнь проходит — как будто ничья
и светла ее бедность... —

и блаженство небольшое — словно проверенная
Богом — не-смертная радость :

птицы ль любой иль травы...) —

вот и видно — пора : обновленьем молитвы вернейшей шепчу я :
" снега..." — да свершится и с миром прощанье (чтоб
без перехода у с н у л о с ь — как день завершается :
словно Господь : без воздействия силы чьей-либо) :

да скажется вздохом : " снега..." :

..... —
(а мир — он так просто-огромен
что даже и смерти — нам ведомой
для преображенья в неведомо-высшую
нет места иного... —

СТРАНИЦЫ ДРУЖБЫ

(Стихотворение-взаимодействие)

(С просьбой вложить между следующими двумя страницами лист, подобранный во время прогулки).

1964, сентябрь

звезды имеют поверхность

как я

пригрозься

(я)

(ты)

Станислав Красовицкий

*
* *

Чуть брезжит самолёт.
Чуть солнце желтовато.
Качает вороньё древесные лотки.
В окне лежат дома похожие на вату.
И двери вчетвером в них топчут каблук.

А в городе над деревянной крышею
Антенны прищипленные ловко.
В долине соль земли засыпет борозду.
А на моём плече —
Багряная головка.
Кто мог её убить ?
А я
Не подойду ?

Во мне горит огонь английского камина.
На мне давно лежит хорошее сукно.
А для кого беречь ?
Для будущего сына ?
Дай лучше отомщу
За всё, что не дано.

Я не убийца. Нет.
Но видят только листья.
И будет хорошо, -
Когда оно умрёт.
Я в жизни не встречал
Затылка шелковистой.
Спи, маска, на плече.
Как в небе самолёт.

1956

*
* *

В деревянное небо
стужу выстукал дятел
там, где чёрные сосны.
Мы боялись, что с ним
нам и летних пророчеств кукушки не хватит
одиночество грусти
растянуть до весны.

И тогда —
сквозь сутробовый сумрак
и горы
развороченных дней,
через дни,
через Ржев...
И от страха теряет обличье скорый,
испугавшись в потёмках
ночных сторожей.

Каждый страшный секрет
так бывает разжёван,
что почти понимаешь —
всё про нас, про одних —
рельсы били в пустые бутылки боржоми,
и проталкивал в тамбур
темноту проводник.

И тогда показалось
с отчаянья, что ли,
то ли просто от страха,
что дни без лица :
дни мертвей, чем сутробы.
Чем ломберный столик.
И мертвей,
чем в постели лицо у отца.

Снова чучелом времени
над картинами дятел.
И когда остаёшься
без него или с ним —
всё боишься —
и летних пророчеств не хватит
эти белые дни
дотянуть до весны.

1955

О ЛЮБВИ

Кто-то сидя уснул на краю очага,
И дорога его недолга. И пурга
Бушевала всё утро округ и окрест
До последнего дерева вымерзших мест.
И просторна у моря рыбацкая площадь.
Ошалевший петух покидает насест,
И тяжёлый баркас уплывает за рошу.
На последние сны не скупятся грачи,
Не затёрта следами холодная тропка.
Ещё в городе рано. И кто-то кричит,
Чтобы в... последний забор на растопку.
А по мне всё равно не топиться печи.
Как не слышно добра в этом окрике грубом.
И не сыщешь добра, и дурманят грачи
Не по-русски пустые раскольниковы трубы.

1956

БЕЛОСНЕЖНЫЙ САД

А летят к небу гуси да кричат :
в красном небе гуси дикия кричат.
Сами розовые-красные до пят.
А одна не гусыня —
белоснежный сад.

А внизу сшибая гоп на галоп
бьётся Игорева рать прямо в лоб.
Сами розовые-красные до пят,
бьются Игоревы войски да кричат :
” У татраков оторвать да поймать.
Тртацких девок целоком полонять,
Тртачки розовые-красные до пят.
А тртацкая царица —
белоснежный сад ”.

Дорогой ты мой Ивашка-дурачок,
я ещё с ума не спятил, но молчок.
Я сижу порой на выставке один.
С древнерусския пишу стихи картин.
А в окошко от Москвы до Костромы
всё меняется, меняемся и мы.
Всё краснеет, кровавеет всё подряд.
Но в душе ещё белеет
белоснежный сад.

Михаил Соковнин

ОБХОД ПРОФЕССОРА

повесть

ГЛАВА ПЕРВАЯ

С утра больные стали бриться. Часам к семи по палатам забегали сёстры и санитарки. Они заправляли постели, протирали полы и касались влажными тряпочками до спинок кроватей. В одиннадцатую палату тоже залетела сестра и быстро-быстро стала убирать всё, что было на тумбочках, в самые тумбочки.

” Вы будете ещё пить свой чай ? ” — спросила она. Больной положительно кивнул, и она не решилась убрать стакан, хотя ощущение незавершённости не покидало её во всё время пребывания в палате. Впрочем, и из коридора она ещё порывалась.

Однако, по-настоящему всё началось только в половину одиннадцатого, и начало этого возвестил внезапно поднявшийся шум, который можно было бы сравнить с шумом сорвавшейся стаи, с шумом приближающейся охоты, или вот ещё — с шорохом самки страуса в тридцати шагах от наблюдателя.

Через стеклянную дверь было видно, как пробежали, изогнув по-собачьи спины и на бегу доучивая истории болезней, лечащие врачи. За ними проследовало несколько лиц совершенно неопределённого возраста и положения. А потом всё захлестнули студенты, вернее, студентки, размахивающие записными книжечками и карандашами, и среди них медленно проплыл сам профессор.

И то, что он был стар, и то, что был ниже окружающих, придавало ему ещё большую значительность и, более того, — трогательность. Казалось, что все остальные призваны оберегать и действительно оберегают его от возможных столкновений, как бы стерегут, и если бы он попытался, то его почти наверняка удержали бы, наконец, ему просто не позволили бы, если бы не удалось уговорить.

Такое поклонение профессору, как некоторому идолу, такое почитание профессора, восходящее к древнейшим временам, — увы ! — сохраняется сейчас только в немногих клиниках, в остальном же научном мире давно уже царствует политеистический хаос. После студентов, а вернее студенток, наступил перерыв. И затем, под нарастающий грохот везомых весов и баллонов с кислородом, самозабвенно прошёл молодой врач с поднятыми кверху руками, словно возвещавший кому-то, кто был в противоположном конце коридора.

Одиннадцатой палаты обход достиг только к половине второго дня, то есть к половине второго полудни. Профессор к этому времени уже сильно устал и разговаривал с больными почти что формально. Однако, каждое его слово тут же ловилось раскрытыми руками и ртами бесчисленных записных книжечек и тетрадок и повторялось со всевозможными искажениями и дополнениями дружными карандашами.

Но наш профессор и в самом деле был достоин подобной популярности : его мозг даже сейчас работал с потрясающей отчётливостью, реагируя буквально на каждую мелочь, на малейший оттенок нюанса голоса больного. В этом было, конечно, и немалое кокетство со стороны мозга старого профессора : подмечая все эти тонкости, профессор как бы иронизировал над своими ненаблюдательными коллегами, унижал их, так сказать, ставил их на место.

” Вы разрешите мне переставить на минутку Ваш стакан ? ” — спросил он больного. Тот инстинктивно взглянул на покрасневшую санитарку и сочувственно улыбнулся ей. Как она проклинала теперь свою недавнюю нерешительность !

Но нельзя было восхищённо не проследить, каким вежливым и вместе шикарным жестом профессор переставил стакан с чаем на подоконник. Затем он пододвинулся поближе к больному, взял его за руку и, не глядя на часы, посчитал совсем мало, после чего мягко отпустил руку, взглядом сопровождая её падающий жест. И что-то даже кошачье появилось за круглыми стёклами очков. Казалось, его забавляла податливость этой вот, претендующей на самостоятельность, руки.

И тут произошло неожиданное. Неожиданно, — и конечно много более для себя, но и для других всё-таки тоже, — больной в свою очередь взял руку профессора и безусловно развернул её ладонью вверх. И пока профессор ещё не нашёлся, чтобы начать сопротивляться, быстро стал говорить : ” О профессор-профессор, какая замечательная Ваша рука, какая сильная : какая сильная линия

таланта, она не прочерчена, скорее вырезана на ладони — и не ножом ? И к тому же Вы — баловник, профессор : Венерин бугор изрезан сплошь поперечными линиями, и ни одной продольной ! Не от этой ли жестокой чувственности Вы так успеваете в науке ? Впрочем, наука и эта штука — одно, не правда ли, профессор ? ”

” Разумеется, разумеется — нет ”, — едва не согласился профессор и как бы случайно раскрыл руку больного. ” Ну-с, что с вами ? Что с вами такое ?? ” — как-то сразу в нескольких смыслах спросил он, как бы промурлыкал, поднимая глаза от ладони к лицу больного, и так несколько раз, словно бы облизывая того.

Но и это ему не удалось.

” Ах, оставьте, оставьте мою болезнь — Вашим студентам, самый нерасторопный из них найдет у меня то самое, что меня ничуть не беспокоит. Поберегите свою изощрённость для более изобретательной болезни, чем ординарный неврогенный перистальтит, или, выражаясь по-военному, шок кишок. Я не шокирую Вас, профессор ? ”

Но тот молчал, натянув на лицо улыбку.

” Уделите лучше немного мне самому, или хотя бы более благородной моей части, то есть руке, ведь я заметил, что Вы посмотрели-таки на нее, а я заметил ”, — и больной внутренне погрозил профессору пальцем.

” Ваша рука, действительно, представляет некоторый интерес, но вы сами, как видно, не меньший меня хирософ, так что, так что — мы вернемся к нашей болезни ”, — и профессор отвернулся лицом к студентам.

” Нет уж простите, — не унимался больной, — Вы напрасно мне говорите так : гадать себе нельзя, как нельзя лечить себя, здесь нужен объективный, научный подход, то есть полная бескорыстность. Здесь, как говорится, важно не есть, а есться ! ”

Этого профессор, признаться, не ожидал.

” Мы поговорим с вами как-нибудь после, в другой раз. Здесь кроме нас с вами ещё — студенты ”. — И профессор неспеша переставил стул к очередной кровати. И по тому, как он делал это намеренно медленно и спокойно, чувствовалось, что профессор был раздражён.

Раздражение это не прошло и в операционной, куда профессор направился после обхода и где лучший ученик его — Гольдфарб — демонстрировал ранее нигде не практиковавшуюся операцию бугорчатки нижнего надпочечника. Некоторое время молча наблюдавший за его неловкими движениями, профессор внезапно подался вперед.

” Как вы держите скальпель ? ! ” — завыл он, и его редкие белые волоски еще более поредели, выделившись на потемневшем, теперь уже совсем тёмно-малиновом фоне.

Одним прыжком он оказался рядом с незадачливым и с такой силой сжал кисть того, что скальпель со звоном упал на каменный пол операционной. Все поспешно наклонились за ним, но тут же совсем смутились, поняв, что опять попали не в просак.

Профессор властно простер руки, и ему тотчас подали новый, стерильный скальпель. Рука его дрожала, но как только скальпель вошёл в тело, словно окаменела, и профессор, как искусный гравировальщик, этой каменной рукой отслоил такой тонкий, будто воздушный лепесток бугорчатки, на котором была болезнь, что ни на волос не захватил здоровой ткани.

Когда вся дневная работа была закончена, профессор заперся в своём кабинете. Его не беспокоили, понимая, что он готовится к Завтрашнему Дню, и даже наиболее порывистые отчуждённо бродили коридорами, всякий раз опуская глаза, когда взгляд их встречался со взглядом себе подобного.

Больному снова тихо мстились кусты и, когда он закрывал веки, тут же смыкались над ним, с одной стороны беловатые, с другой менее белые листья, и протягивались к воде; и чем жарче, тем холоднее было блестящее зеркало, по которому ходят паучки, на котором лежат крошки разные, какие можно смахнуть ладонью со стола реки, и таинственная жизнь за непроницаемым стеклом, если только предположить её существующей. И ведь всего какой-нибудь метр ! Если ямку такой глубины выстроить на берегу, то можно было бы свободно обнять всю её, и снесь напрасно стала бы суетиться на этой мели, и как грустно, как жалко было её... Начинался вечерний парад кустов, который больной для себя именовал ” дунсианским ”. Кусты проплывали тёмными островками по лунной воде, поворачивались, разбирались ветками — прямо тёмной листвою в лицо.

” Не лечат, суки ! ” — резюмировал другой больной со своей стороны, который хотя и был учителем истории, кажется, где-то в Орле, но сидел на своей кровати так, как иные умеют на унитазах, и выглядел портным, или можно себе представить, что и сапожником, когда перед самым ужином в палату тихо вошел профессор.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Правда, на этот раз особого смятения он не произвёл, все как-то бессознательно про себя решили, что один профессор — это ещё не обход, что с одним они как-нибудь справятся, а больной прямо-таки оживился навстречу ему.

Однако, этого оживления профессор явно не разделил. Он нерешительно медлил в начале палаты, ещё долго он топтался у спинки первой кровати, как больной после операции, и казался себе не в лаковых туфлях, а в мягких с развязанными завязочками, через которые по-детски легко было упасть. Собравшись наконец, он передвинул себя вглубь палаты и остановился ходом коня перед стулом, поставленным у постели больного.

— Вы что-нибудь слышали о Завтрашнем Дне ?

— Это о завтрашнем завтраке ?

— Да-да, о том эксперименте, который я собираюсь завтра поставить.

Больной приподнялся на локтях в своей кровати : " Не слишком ли Вы последовательный последователь ? То есть не слишком ли буквально Вы понимаете выражение ? "

Профессор протестующе простёр руку : " Именно поэтому я и пришел к вам, чтобы послезавтра вы не распространяли бы обо мне нелепых слухов. Я отнюдь не последователь той книги, по которой вы, очевидно, совершенствовались. И я иду на этот эксперимент в силу прямо противоположных соображений "

Профессор схитрил. Ему, конечно, было бы неприятно после своей жертвенной кончины еще и быть неправильно интерпретированным, но куда как большие опасения вызывала в нём сама личность больного : он или не он, тот ли он, сам ли он попался к нему, или только ещё один ?

А этот последний к тому же и подзадоривал его :

— Каннибализм ! И неужели Вы не смогли предусмотреть кого-нибудь другого, не обязательно же самого Вас ?

— Вот тогда-то меня все обвинили бы в каннибализме. Но с этим можно было бы не посчитаться : в условиях клиники возможно многое, например, простите, что каламбурю, — клиническая смерть и прочее. Однако, с опубликованием материалов опыта вышла бы дополнительная проволочка. Вы — улыбаетесь ? Ах, вы опять... Ну, на что вам далась моя рука ?

И — правда — больной, воспользовавшись, что профессор отвлекся, снова занялся ею.

— Сколько Вам лет, профессор ?

— Дружище, вы, значит, не знаете, что завтрашний эксперимент приурочен к моему юбилею: 75 лет жизни, и ни одним днём больше!

— Я бы дал Вам много больше.

— А вы меньше верьте в руку и больше в науку, — сморозил профессор, которого самого бросило в жар от такого остроумия, почему он поспешно надулся и добавил весьма таинственно:

” Кроме того, может, я и не умру завтра. Вот об этом я и пришёл сказать вам ”.

Лицо профессора было совершенно непростительно.

— Как, так Вы собираетесь обмануть Ваших голодающих студентов? Помилуйте, они же так жаждут знаний!

На этот раз непростительным был тон больного, и профессор решил слегка наказать непослушного.

— Молодой человек, — обратился он укоризненно к больному. — Вы не даёте мне сказать, а ведь сама ситуация нашего разговора должна бы вас обязывать выслушать меня. Вы обязаны выслушать меня хотя бы из вежливости. Вы — вежливы, да, вы очень вежливы! А вежливость обязывает вас слушать. Вы слушаете меня внимательно, не напрягая мускулов, освободите руки, шею, так, отлично. Дышите. Вы дышите и слушаете меня, с каждым вздохом вы поглощаете мою мысль, с каждым вздохом вы освобождаетесь от заблуждений...

— Так Вы не только индеец, но скорее индус! — прервал эту нить, а правильное сказать ” сутру ”, больной.

Профессор смялся. Он забегал глазами, как паук по одеялу, и лицо его снова стало тёмно-вишневым.

— Вот, значит, как цените вы себя, как бережёте свою личность, но я и без помощи гипноза могу — хотите — заставить вас, например, кусаться, как последнюю собаку! А это наперекор вашим ” кусаемым ” принципам.

— Зачем это Вам понадобилось, чтобы я кусал Вас? Если в качестве репетиции перед завтрашним днем, то извольте.

— Нет. Нет-нет. Вы не сможете меня укусить, — притворно жалел профессор. — Действительно, какой вам смысл кусаться? Вас могут посадить под замок, и я ничего, никаких гарантий не даю и не дам. Впрочем, если вас и не посадят на цепь, то всё равно до старости в вас будут все тыкать пальцами: ” тот, кто покусал профессора ”. Брже! Вы несвободны ни внутренне, ни внешне, в вашей карте мира слишком много белых пятен, а ваш мозг боится неизвестных последствий. А вот я — я, вот, могу укусить вас совершенно не

рискуя, и меня не сдерживают никакие соображения или даже чувство стыда, и вы не сможете ответить мне тем же при всей вашей деликатности : вот !

И профессор, щёлкнув зубами над ухом больного, прямо-таки укусил его за щёку. Больной вытер щёку и спокойно посмотрел в ищущие глаза профессора :

— Давайте лучше вернёмся к предыдущей теме, я кусать вас не стану и не почему-нибудь из принципа, а просто мне это неприятно, впрочем, так же как и ваши жёлтые зубы. Вы — мне показалось — хотели что-то сообщить сиротеющему человечеству при помощи меня ? Я буду слушать вас очень старательно, ведь в студенческой столовой я не обедаю.

Профессор, кажется, что и не слышал последней тирады. Он посмотрел на больного с тем самым покорным судьбе выражением, приблизительно как смотрит старый Ловлас в пожилом возрасте на отказавшуюся от его участия девицу. Больному стало почему-то жалко старого профессора : ну, что ему стоило, наконец, покуситься разок на него.

Профессор заговорил, несколько осторожничая, внимательно строя периоды, и почувствовал себя — и не мог отделаться — хорошим учеником перед доскою, и все выверенные столько раз мысли виделись ему сейчас пустыми и как бы надутыми изнутри формами.

— Я полагаю, что прав, то есть я прав, полагая так, что всё-таки личность не имеет ни ценности, ни реальности. Реален мир и человек, вернее, его мозг, который и есть образ и подобие мира. Карта мира — вот оно, нужное выражение ! Личность имеет то же приложение, как, скажем, карта Франции или, например, Англии. Личность — это частность. Поэтому в карте мира и карта Англии, и карта Франции заключены как части. Сами же карты мира между собой различаются лишь масштабом, иначе — подробностью.

" Неплохо же ты подтасовал карты ", — мелькнуло у больного, который и виду между тем не подал и слушал с живейше выраженным интересом.

— Меня долгое время занимала мысль о возможности перепечатки, так сказать, тиражирования сильного мозга. Нет, сама идея вполне гуманна : слабый мозг для сильного — *tabula rasa*, он фактически не искажается наложением на себя сильного мозга, но лишь наполняется недостающими подробностями. Я изучал, сильно надеясь, электроэнцефалографию мозга, но здесь наука ещё слишком слаба и желаемого достигнет не раньше, как лет через пятьдесят. Ну, педагогика или даже гипноз более чем недостаточны, заниматься

ими всё равно, как наполнять сосуд огромных размеров через маленькое отверстие. Вы видели моих учеников — лучший из них, Гольдфарб, уже знаменитость, но ведь по правде он просто мясник, да, я уверен, что разделка туши по всем правилам для него — дело творческое, требующее всего человека, точнее, Гольдфарба. И вот, когда я почти потерял надежду, мне попалась на глаза та самая статейка о червях, собственно, о морских червях, которую вы очень видно, что читали. Она-то и навела меня на след.

Профессор оживился и даже начал было принюхиваться к воображаемому следу.

— От червей к людям и от людей к червям, — вставил-таки гамлетически наш больной. — Однако, жрецу совершенно не обязательно быть одновременно и жертвою. Почему бы вам не удостоить последней чести ещё кого-нибудь ?

— А какой смысл, если эти идиоты станут поедать друг друга ? Какой наблюдаемый результат может выйти ? Ах, да ! Ведь я не сказал вам самого главного. Вы едите когда-нибудь мясо ? Или вы — вегетарианец ?

— Я ем.

— Аз есмь, — улыбнулся профессор. — Ну, а как вы думаете, почему вы не уподобились до сих пор разумом телёнку, или вот — барану ?

Больной пожал плечами.

— Потому что действует закон "выживания сильнейшего мозга" ! Если бы баран слопал вас, он поумнел бы, а вы едите барана и нисколько не становитесь им.

— А тигры-людоеды ?

— Они умнее других. И, заметьте, тигр становится людоедом, лишь отведав человечины. Как видите, в нём с первой же порции пробуждается нечто человеческое.

Глаза профессора весело блестели, видно было, что вопрос больного о тиграх-людоедах доставил ему немало радости.

— Вы были близки к истине, когда утром сказали, что наука и садизм — одно. Знание — жнана — жена : ясный лингвистический ход. А, как известно, обладание начинается с поедания.

— Да, я читал об этом у вашего Зигмунда.

— И ещё, я хочу сказать, — заторопился профессор, боясь, вероятно, что больной обгонит его мысль, точнее, её словесную оболочку. — Прогресс отдельной личности не бесконечен. Желание знать возможно лишь, когда подозреваешь, что есть кто-то, кто знает больше тебя. Делая открытие, я не только пожираю явление, но и того, кто такого открытия не сделал.

— И при такой кровожадности позволить себе есть себя другим !

— Они не съедят меня. Вы забыли. Они не съедят меня, это я разом проглочу их всех: выживает всегда сильнейший мозг!

И профессор сделал энергичный, но не совсем подходящий к случаю жест. "Прекратите мальчишествовать!" — неожиданно закричал на него больной, повисая на выставленной руке профессора. И, несмотря на своё очевидное тщедушие, он сумел-таки не только повисеть на этой руке некоторое время, но и дружелюбно усадил профессора на кровать, предварительно выпростав из-под того свою ногу.

Возня отняла у них всего несколько минут жизни. Оба порядком утомились, в глазах у больного опять что-то начало плыть, плывущий профессор глядел и того уморительнее.

— Успокойтесь, профессор, не то вы начнёте опять говорить. Сидите! Сейчас доплывут последние кусты, и дальше уж пойдут деревья. Наблюдайте, наблюдайте за ними, если вы не вовсе её лишены, имея в виду наблюдательность. Вон к нам плывет нечто корявое — думаю: дуб? Вот вам листик дубовый, профессор. Вы можете приставить его к профилю дуба и убедиться самостоятельно, что они совпадают.

Профессор ничего уже не мог поделывать, как заняться подобным сличением, но чувствовал, что его увлекают не в тот коридор мысли, и мучился, не узнавая в нём ничего похожего или хотя бы тому подобного.

А больной, не давая ему опомниться, как на зло мельтешил в глазах:

— А вот ещё — ёлка! Припомните ваше счастливое детство, профессор. Наверняка вы писали стихи, дескать, ёлка — иголка. Но ведь и правда, она в своих очертаньях совпадает с иголкой.

— Это как гидры? Вы это хотите сказать? Я знаком с "Мемуаром из истории полипов" Трамбле, и вам едва ли удастся меня покорить вашими дилетантскими уподоблениями, — формально барабанил профессор, внутренне сопротивляясь мерзавцу.

— Да, да! Хорошо! Не упрямитесь — расслабьтесь, профессор. Представьте себе, например, что весна. Откуда же это на дерево, прямо вот здесь, перед нами садятся не птицы, но — листья? Неужели вы ещё сомневаетесь, ведь прошлой осенью вы несомненно видели, как они слетели с него? Ау! Догадались! Они — вернулись, профессор, и те же силы, какие их вызвали прошлой весной, вызывают их и нынче и будущим летом. Лист — это образ и подобие дерева. Знаете эти стихи:

" Не лист на дереве живёт,
Но дерево живёт листвою..."

Профессор, разумеется, помотал отрицательно головой. Ему, действительно, только того и не хватало, чтобы с ним ещё изъяснялись стихами. Больной же чувствовал себя на этой зелёной лужайке совершенно в своей тарелке, и ему даже казалось, что и грозный профессор тоже начинает осваиваться в ней и скоро, должно быть, попросит чаю. В конце концов, они оба с одного дерева, и если прожилочки у них не совсем совпадают, так это и к лучшему : о чем бы они тогда спорили и вели время в такой — не сказать — приятной беседе ?

И только тут сознание больного неприятно поразило выражением "сильнейший мозг", которое, как помнит читатель, профессор и вправду употребил от того незадолго.

Всё возвращалось на свои места.

Больной ясно видел теперь себя униженным и досадно сентиментальным. Ему естественно захотелось хоть как-то возразить обидчику :

— Это почему же вы полагаете свой мозг — мозгом сильнейшим ? Или ваш мозг вопреки вашим воззрениям обладает свойством созерцать самого себя ? И неужели вы смогли проследить все извилины вверенных вам студентов, так сказать, прожили все их прожилочки ? Так среди них, не студентов, конечно, а, скажем, студенток, — есть женщины ! А последние-то определенно наделены чем-нибудь специфическим, сравнительно с вами ? Например, интуицией, — думаю, что она у них есть...

— Чепуха ! — Профессора не так-то просто было поправить. — Чепуха ! Я ещё по руке вашей догадался : на вас оказывает сильное влияние Луна, вот вам и видится в женщине что-то загадочное, и всякий романтизм. На самом деле, женщины нас озадачивают только потому, что их мнения слишком ни на чём не основаны. Сетка мозга женщины чересчур редка, и всё существенное спокойно уплывает сквозь её ячейки. Мы называем интуицией их случайные угадки, которые никак не следуют из хода их мысли. Если бы я не знал, что знаю больше всех, я не решился бы на такой эксперимент. Но для меня здесь вовсе нет риска.

Самолюбие больного было снова и явно уязвлено. Но он сдержался и снаивничал :

— Ну, хорошо, положим, в медицине вы знаете больше всех-всех, но, скажем, музыка, живопись, другие изящные искусства, разве вы и тут разбираетесь тоньше специалистов ?

— Специалисты ! Вы можете дать — дайте мне квадратный сантиметр холста любого художника, и я по самому характеру мазка сообщу вам имя автора, а наверняка и название произведения.

Мозаика Врубеля, драгоценная лессировка Рокотова, плавающие формы Рубенса, кровавое месиво Тициана !...

Больной почувствовал, что его может стошнить.

— А если вы следите за газетами, то должно быть знаете, что в прошлом году... с Венским оркестром, под моим управлением... *cis moll'* ная Клода Бесси удостоилась... выше, чем Отто Клемперера...

— Бедный Кло ! — мучительно возразил вдруг больной, привставая, и, подобрав полы халата, запахнул шуплую грудь и предпринял несколько шагов.

— Профессор, если вы позволите, я вас немного обескуражу. Идёмте за мной.

Профессор лишь немало поколебался, но снова дал себе увлечься больным, и вот, когда позади остались первые десять квадратов паркета и уже шатался коридор, мигая лампами, двери соседней палаты расступились перед ними.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Предшествовавший больной остановился у пустой кровати.

" Пустая кровать ", — бросил профессор, но больной не дал ему далеко зайти.

— Пустая кровать, но не всегда же ! Сегодня утром с неё ещё кричала старушка.

— Да-да, неприятно. Репутация клиники.

— Она кричала : " Мама ! Мама ! " Не кричала, даже бляела — в горле у неё что-то всё клекотало. И она так звала-бляела, словно мама её здесь, совсем возле неё, а мамы её уж наверно лет сорок как нет на свете, и не кажется ли вам странным это, профессор ?

— Да, ужасно, я понимаю, но мы сделали всё возможное...

— А кто, по-вашему, была ее мать ?

— Откуда я знаю. Какая разница.

— Некоторая, профессор. Простейший лингвистический ряд : мать — мат — мот — морт — смерть. Вот кого она бляела-звала, и присутствие этой-то матери (обратите внимание на появляющееся " р " — мерит — мор — амор) и сводило на нет все усилия вашего персонала.

— Что ж, лингвистика достаточно соблазнительная : рождение и смерть, смерть и любовь — да, здесь есть нечто диалектическое. Но к медицине, сами понимаете...

— К вашей медицине отношения не имеет, а ваша медицина имеет отношение к этой покойнице.

Профессор невнятно пробурчал что-то и углубился в палату : — Вот, подите сюда и для начала без философии определите, чем она больна.

За прутьями кровати, как за решоткой, сидела скорчившись молодая женщина. Её можно было бы назвать очень красивой, если бы крайне напряженный взгляд, раздувающиеся ноздри и спутанные иссиня-чёрные волосы не придавали ей сходства с животным или с умалишённой.

— Я буду должен вас разочаровать, профессор, но больная вполне здорова, хотя случай и очень серьёзен, только, кажется, в палату собираются ваши студенты, а я не хочу читать лекцию для желудков.

— Ну, кратко, кратко, в самых общих чертах. Вы начали совсем неплохо. Я сам думаю, что с ней ничего нет, просто она специально убивает себя каким-то неведомым способом.

— Способ простейший. Она расстраивает работу сердца намеренно неправильным дыханием. Видите, как сосредоточенно она смотрит. Сейчас последует экстрасистола... вот... Видите, к чему приводит, когда после длительной задержки сразу два сильных вдоха и новая задержка. К счастью, её сердце достаточно хорошо и будет сопротивляться ещё и до утра. Но эта причина — чисто внешняя, и я удивляюсь, как вы до сих пор её не разыскали. Меня интересует нечто более существенное. Сознаться, профессор, что наши две руки не стоят одной её, разумея здесь её руку. Какой превосходный набор самых разнообразных талантов, какой электрический темперамент ! О, если бы каждый из них не удерживался каким-нибудь соответствующим физическим недостатком, то она могла бы стать великой актрисой, не будь язык её сложен столь непрактично, второй Терпсихорой, когда бы не глупый нарост на правой голени колена, художником, что, согласитесь, трудно при таком полихроматическом дальтонизме, нельзя сомневаться и в её совершенно особой музыкальности, но кто поверит этому, если её уши — только сомнительное украшение для головы, и — не смейтесь, профессор, ваш смех очевидно не на месте, — если бы не врождённое отсутствие математических способностей в сочетании с агорафобией, она, уверяю вас, была бы давно уже знаменитым архитектором.

Как видите, самоубийство на этот раз — привычная форма существования.

Больной говорил звонким, отчётливым голосом и даже довольно гладким языком, но тем не менее чувствовал, как в нём самом поднималась странная пустота. Палата наполнялась почти

бесшумно, словно большие белые капли протекали откуда-то в неё, и она уже стала походить на стакан, только наполненный не чаем, а именно молоком. Больному было настолько не по себе, что просто страшно : страшно было взглянуть в лицо этим белым желудкам, или чехлам, пустым-пустым белым формам, которые жаждали наполнения, которые вот уже закрыли всю стену, расположившись ярусами, точно консерваторский хор, или как, напротив того, — любопытные зрители одного из соблазнительных средневековых спектаклей. Поэтому больной был буквально тронут, когда профессор мягко прикоснулся к его руке :

— Прошу вас, перейдёмте в другую палату, здесь нас слишком много.

Они вышли, но двери закрыть совсем плотно им уже не удалось : полы чьего-то белого халата защемились дверью, которая вскоре была уже полутворенной, и белые капли заструились по коридору вслед беглецам.

Войдя в новую палату, больной искоса посмотрел на колышашую живую белую стену и догадался, что их одних опять не оставят. Но он продвинулся весьма решительно до первой кровати, на которой на этот раз лежал в пижаме полный усатый мужчина с большой порочной лысиной на макушке. Профессор жестами пригласил больного заняться им.

— Вы испытываете меня, профессор, но я и без вашего рентгена вижу, что с ним. Только вы думаете, что это у него от ушиба, а я думаю, что от плохой памяти.

— Не понимаю, что вы там говорите...

— Я не хочу нарушать вашу врачебную этику : ведь вы не сообщаете больному, что с ним было, даже если это пройдет у него навсегда. Разумеется, если это не насморк или ещё что-нибудь незачитное. Я скажу иносказательно — он ничего не поймёт — но он родился где-то в начале июля.

Профессор понимающе закивал головой. (Для менее эрудированных сообщаем, что человек, родившийся в указанные сроки — родился под Раком, как бы это первого ни огорчало).

— А теперь я объясню, причем тут плохая память.

Больной наклонился к усатому и тихо сказал ему : " Её звали Калерия, Калерия. Вы вспомнили ? " — " Да-да, правда ! Калерия ! А я всё думал : Валерия, Кавалерия... С кем теперь скачет моя кобылка ?..." — Он улыбнулся, но усы оставались висеть так же безнадёжно.

— О чём вы разговариваете ? — перебил профессор, недовольный тем, что без него так долго обходятся.

— У него была женщина, очень снисходительная к нему, то есть добрая к нему, но он забыл её имя и долго мучился, от этого у него и произошло. Но сейчас несколько поздновато : вы видите, — и ничуть не стесняясь наличием усатого, больной продолжал, — он радуется, что вспомнил, только потому, что теперь увереннее сможет хвастать своей викторией. Если б он знал, во что ему встало его эпикурейство, он давно бы уже числился среди последователей Александрийской школы.

— Интересно, интересно — знать, откуда вы взяли это имя Калерия ?

— Я однажды имел шанс разговаривать с ним, а я немного дружу с психоанализом и потому догадался пораньше его.

— Замечательно, коллега, я просто любуюсь вами ! — с недовольным видом одобрил профессор, закипая. — Но смотрите, какая революция ! Они и вправду думают, что выходят из-под моей власти. Пройдёмте в мой кабинет, уж там никто нам не сможет ни в чём помешать.

Кабинет был достаточно просторен, в нём могло бы многое иметь место, но только бесчисленные книги и ещё раз книги теснились плотными рядами по всем стенам, да ещё на небольшом мраморном столике стоял макет зловещего изобретения доктора Катте — знаменитый Каттеболь, который одинаково находил в старину применение как во врачебной практике, так и при дознании. Лечение уронами и ушибами, метод симметричного поражения, основанные на невежественном представлении об организме, как о поле битвы конкурирующих органов и на средневековой диалектике, — вот символом чего являлось в глазах больного это орудие, позволявшее поражать желаемое место с необходимой степенью болезненности, не нанося при этом особого членовредительства и явных — одних только явных, читатель ! — переломов магистральных или осевых костей.

— О, я так и думал ! Вы по-шекспировски последовательны, профессор, ведь, если не ошибается моя память, это в вашей клинике совсем ещё недавно работали над проблемой " вирус здоровья ", считая, что болезненное состояние естественно для нормального, брэнного организма и лишь отдельные здоровые члены могут нарушать его прекрасную гармонию. Каттеболь ! Скоро сюда внесут ещё такой же достойный предмет : ваш бюст, профессор, единственное, что от вас останется — ведь вы даже не подумали о том, что вам совершенно неизвестна таинственная связь вашего " Я " с вашим мозгом. Да точно ли вы — мозг ? Мозг ли вы — профессор ?

Вы — отчаянный игрок ! Вы играете на ваше собственное тело, которое будут вкусно кушать ваши книжные черви, дорогой мой одержимец непроверенных идей !

Профессор молчал и только молча метался по кабинету.

— Нельзя же так неосмотрительно есть, голубчик, — почти умолял его больной, сентиментально вцепляясь синеющими пальцами в халат профессора, как вдруг последний — профессор — побагровел и, схватив руку больного, жестоким приёмом оторвал её от себя и с силой отбросил больного в угол кабинета.

— Иезуит ! Я узнал вас ! Но у вас теперь не найдётся обратных рельсов ! Гордитесь ! Вы получите должное распространение через моих студентов. Это не меня — вас пожрут мои братья, мои чудесные коллеги ! В нашей клинике возможно многое, возможно, что... — И профессор ринулся к двери, хотя больной и не попытался даже его опередить. И пока больной собирался с полу, уже захлопнулась с плотным шумом тяжёлая дверь, украшенная превосходной итальянской чеканкой конца восемнадцатого века, возможно, что и работы знаменитого Бенвенути, где была представлена мифологическая сцена " Орфей в подземном царстве " с некоторой скованностью движений и почему-то вовсе без Эвридики.

1969-1973

Автор приносит глубокую благодарность А.П. Малькову за сообщённые им сведения о " Каттеболе " и просит извинить чересчур собственническое обращение с общими обоим понятиями.

Евгений Рейн

ДИНАРИЙ КЕСАРЯ

*... Что искушаете Меня, лицемеры ?
Покажите мне монету, которой
платится подать. Они принесли
Ему динарий. И говорит им : Чьи
это изображения и подпись ?*

Говорят ему : кесаревы.

*Тогда говорит им : итак,
отдавайте кесарево кесарю,
а Божие Богу.*

Услышав это, они удивились...

Матф., 22:18-22.

I

Апреля сиротская глина
Обмажет подошвы твои.
Рассыпья, моя дисциплина !
Не мучь, не мути, не дави !

Под хладный кирпич пятилеток
Спускаюсь в могилу метро,
Как хочется, чтоб напоследок
Мне стало светло и тепло.

О, сколько же выпало дальней
И бедной судьбы кочевой
До смерти моей радиальной
По жизни моей кольцевой.

Хватило на долгие годы
Всего, чтобы мне ошалеть.

И не было только свободы.
О ней и не стоит жалеть.

Не стоит рыдать и браниться,
Бросать грязноватый кулак.
Свобода — свободная птица,
Её не прикормишь никак.

Тем более в комнатах наших
Замучены сном и трудом,
Мы ей надавали пятнашек
И руки умыли потом.

И вот от размокшей землицы.
Спасаясь в московском метро,
Глядите, глядите на лица :
Всё кончено, ясно, мертво.

У СРЕТЕНСКИХ ВОРОТ

Холодным летним днём
У Сретенских ворот
Не отыскать с огнём,
Москва, твоих щедрот.

Вечёрку отложив,
Я вижу — меркнет день.
Ещё покуда жив,
Он расправляет тень,

Травы позеленей,
Красней креплёных вин,
Накрыв по ширине
Бульвар, как кринолин,

Ночной огонь Москвы,
Наш общий семафор,
Забвение тоски
И жажды самовар.

Великих городов
Тем и велик разброд,
Что терний от плодов
Никто не отберёт.

Пока сиди среди
Песочниц и детей,
Пока ещё следи
За Сретенкой своей.

Закончены дела,
Прочитаны листы.
И всё, что ты дала —
Всё отобрала ты.

Не забывай меня !
Когда-нибудь потом
Пошли и мне огня
Расплавленным пятном.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ,

ИЛИ ВЗГЛЯД ЗА ОКНО НА МАНЕЖ И НА ПЛОЩАДЬ

Десять лет убежало. А куда — непонятно.
Их пространство вобрало, или время вернуло обратно ?
Может, попросту ссыпались с чёрной небесной лопаты ?
Или ими насытились Овн, Скорпион и Плеяды ?
Десять лет я сидел у окна в переполненной зале.
И валял дурака в середине, конце и начале
Десятилетия этого, полного смысла и блеска.
И теперь на бобах. И кого мне винить — неизвестно.
Проклинать своё время ? Но это последняя глупость.
И гораздо вернее пенять на привычную лютость
Всех времён и режимов к таким вот ленивым растяпам,
На кресте нерешительности справедливо распятым.
Ведь пока я глядел за окно на манеж и на площадь,
И пока я сидел меж двух стульев, не веря в их прочность.

Протекли мои лучшие, самые лютые годы,
Отошли мои случаи, как от земли пароходы.
Догони, доплыви то ли в лодочке, то ли иначе !
Человек за бортом ! Он отстал от деньги и удачи !
Я не молод, не стар, не освистан пока и не признан.
Не матрос, а кустарь возвращаюсь обратно на пристань.
Эта пристань моя — золотая Москва за окошком.
Ну и что из того — я забыт, как Касьян в високосном
Невезучем году, преисполненном хвори и тягот.
Потому в борозду этих лет и года мои лягут.

Предо мной наливала колосья моя комсомольская нива,
Но, увы, пересохли колодцы у общества и коллектива.
Приглашала индустрия в храм своего комбината.
Это было недурственно, но я глядел виновато.
Заходил, уходил и, увы, оказался уволен.
Что поделаешь — сладить с никчемной натурой не волен —
Я тогда отступил в ремесло борзописца,
Я себя остудил, что, увы, никогда не простится.
Стал проворной рукой сочинять я заметки и штучки,
Потянулись домой полупремии, полуполучки.
Переводы, сценарии, детские взрослые сказки,
Экземпляры сигнальные, редакционные ласки.
Что же я прозевал ? В перелеске иудину дачу ?
А пока я жевал, упустил из-под носа удачу ?
Удалось бы с верёвкой бежать по Воровского в гору ?
Чтобы на Новодевичьем мне из паросского впору,
От затылка до пяток, казённую сбили гробницу ?
Нет, на это не падок ! Я бульварная серая птица.
Доживу так, как начал. На пустом и свободном просторе.
За беспечным столом, но зато на извечном престоле.

ПОСЕЛОК

Сквозь снежные сумерки зябко
Мерещатся церковь и лес.
Как своды бродячего цирка
Низина ноябрьских небес.

Должно быть, жилось непривычно
В далёкие годы ему,
Когда он спешил к электричке,
Сминая рассветную тьму.

Когда ж он привык понемногу,
То здесь, несмотря на разлад,
Как раз проложили дорогу
И даже постлали асфальт.

Война миновала, и бедность,
Украшились особняки.
Но так же играя и пенясь,
Шумели потоки реки.

Кололись неловкие ёлки
На горке над чёрным ручьём,
И всё-таки в этом посёлке
Он был обречён, обречён !

Глумился и шикал народец,
Осенняя стыла жара.
Он вышел как канатоходец.
Под свод циркового шатра.

В пиджачной разглаженной паре
Он в небо вознёсся легко.
Следили за ним : пролетарий
И барин — соседи его.

А он уходил по канату,
И сделался мал и далёк.
И все понимали — так надо !
Когда он пробил потолок.

Упавший софита осколок
Был верный свидетель тому.
Исчез он, и этот посёлок
Навек погрузился во тьму.

*
* * *

В чужой гостинице чужая жизнь проходит,
То входит в номера, а то навек уходит.
Скажи ей : " Погоди ! " Не слышит впопыхах,
Бежит по лестнице, пожитки распахав.
И кожаный сундук заезжего буржуя
Уходит из-под рук, толкаясь и бушуюя.
Гундосят вежливо и пятятся зеркально,
Но хуже прежнего несносное сверканье.
Кофейной чашечкой, копейкой, сигаретой
Заденут и пройдут и не заметят.

" Жди ! "

Так первенцу среди оравы многодетной
Твердят всегда одно : " Отстань и погоди ! "
На пятом этаже в служебной комнатухе
Твоя открыта дверь, войди, поговори.
Военный атташе и штатские старушки
Не примешаются.

Пока ещё лови

Бретельку, дуй вино, вывёртывай суставы,
Вынюхивай надушенный подол.
Снасибо и на том.

Твоими бы устами

Пить мёд и яд, а не ночной кагор.
Всё ниже абажур, всё тише этот город.
В чужой гостинице не хуже, чем в избе.
Засни на полчаса.

Неправды не откроет

Никто, она и так принадлежит тебе.

УТРО НА КРИТЕ

Чужая квартира
Что критский дворец,
Где дремлет задира
Мужчина-телец.

Но я Минотавра
Совсем не боюсь,
И я моментально
Во всём разберусь.

Быка на бифштексы,
Бифштексы на стол !
Прекрасно, безопасно
Моё баловство.

И я симпатичный
Советский еврей,
Хоть в чём-то античный,
Известный Тезей.

Пускай олимпийцев
Завистливый глаз
Мигает и злится,
Он мне не указ.

О как ты нарядна !
О как ты добра.
Проснись, Ариадна !
Дружочек, пора !

*
* *

Два дуэлянта, три самоубийцы и остальные,
Нет, не выходит. Ну и что ? И ладно.
А в подставные,
Слегка загримированные лица я не гожусь.
Такого нет таланта.
Не дуэлянт и не самоубийца, я откажусь от соучастья.
Ладно.
Я был среди наследников, и всё же
Мне ломаной копейки не досталось.
Но только об одном прошу я, Боже.
Когда-нибудь через года, под старость.
Когда развалиной я стану жирной,
Коснеющей над мелким преферансом,
Найди меня в моей стране обширной,
Не обойди моим последним шансом.
Позволь припомнить ясно всё, что было,
И ничего уже не обещая,
Без веры, без сомнения, без пыли
Взглянуть назад, вовеки не прощая.

Ленинград, 1972

Леонард Данильцев

ЛЮБОВЬ ИДИОТА

Я видел, как они стояли на плотине.

Вокруг была зелень. Река обросла ивняком, плотина была обсажена тополями, а на том берегу рос еловый лес.

Они стояли взявшись за руки и глядели на лес. По-моему, она улыбалась.

Зачем она назвала меня идиотом ? Я сам знаю, что я идиот. Со школы знаю. Сначала меня звали дураком и по-всякому, а в школе стали звать идиотом.

Они долго стояли на плотине, а я долго из-за кустов подглядывал за ними. Мне было очень грустно. Вода в реке чёрная-чёрная, но в ней отражаются облака и кусочки голубого неба. Я ждал. Я не знаю, чего ждал. Мне хотелось, чтобы они что-нибудь сделали. Я был уверен, что они сделают. Но они держались за руки и смотрели на зелёный лес. Он изредка говорил ей (я видел, но не слышал — они всё-таки были далеко); по-моему, она улыбалась и глядела на лес.

А потом они отошли к дальнему от меня краю насыпи. Я уже видел одни их головы. А потом они скрылись за насыпью. Наверно, спустились по тому склону.

Я не пошёл за ними. Если бы они перешли плотину и вошли бы в лес, я пошёл бы за ними. Но они скрылись за насыпью, и всё стало очень пусто. И я пошёл домой.

Мой отец был пьяница. И дед был пьяница. Говорят, поэтому я идиот. Сам я не пью. Мне не хочется пить. Я пробовая пару раз выпить, но получалось плохо. Говорят, что пьяный я совсем идиот.

А ещё я не пью потому, что хочу, чтобы мои дети были умными. Но, наверно, у меня не будет детей.

Когда мне стало 20 лет, меня из города перевезли сюда. Я уже не учился. Здесь меня устроили на кирпичный завод. Я всегда работаю хорошо. Наверное, поэтому и ещё потому, что я городской,

меня вскоре назначили группоргом в цехе. А может быть, потому меня назначили группоргом, что не знали, что я идиот.

Комсоргом была девчонка. Она дала мне в картонной обложке тетрадку. На обложке она написала "Тетрадь группорга Козлова". Она велела записывать в тетрадку все успехи и провинности комсомольцев. Я спросил, как надо записывать. Тогда она сама разграфила первый лист тетрадки на столбики и показала, как надо записывать.

Я всегда с людьми молчу. Я молчу и подглядываю за людьми. Мне интересно. Я не умею всё, что надо, но подглядывать я умею. Люди, с кем я сталкивался, если они не предупреждены заранее, что я идиот, всегда поначалу со мной приветливы. Я знаю, что лицо у меня идиотское, но не все сразу распознают. И все поначалу спрашивают моего мнения. А я не знаю, что ответить. И я улыбаюсь и смотрю в небо.

Небо бывает густое, как чернила, и в нём плавают звёзды.

Все говорят, что небо так оно и есть, а я думаю, что его нарисовали.

Она рисовала очень похоже. Мне понравилось, и я попросил у неё кисточку.

Она рисовала похоже, но не так, как мне хотелось. Синюю краску она слюнявила.

Я сел в углу двора и рисовал совсем отдельно от неё. А потом она посмотрела и сказала, что я гений.

Я знаю, что гений — это не идиот. Совсем наоборот к идиоту. Но я видел, что она не смеялась. Мне стало трудно, и я убежал в сарай.

Когда меня назначали группоргом, то тоже называли гением. Это потому, что я сказал, что на заводе надо всех сделать комсомольцами. Как раз незадолго, поступая в комсомол, я узнал, что комсомольцы и партийцы — самые лучшие люди.

Но партийцы — это старые люди. А я не хотел бы быть старым. Я не хочу, чтобы кто-нибудь был старым.

Если я состарюсь, я стану партийцем.

Вот, правда, я никак не могу понять, за что люди стареют. Некоторые пускай стареют. А некоторые не за что стареют. Мне объясняли, что старость так она и есть старость. А, по-моему, это, как я идиот, за то, что отец или дед были плохими. Но если я уже идиот, то вовсе необязательно, чтобы я был ещё и старым.

Если у меня будут дети, то они будут умными, потому что я не пью. Но у меня, наверное, не будет детей.

Я очень люблю смотреть на просторное небо. Когда мне незачем подглядывать за людьми, или когда все кроме меня смеются, я ухожу в поле и смотрю на просторное небо.

Когда она рисовала, я подглядывал за нею. А когда она складывала ящик и уносила картину в дом, я уходил смотреть на просторное небо. С небом не так скучно.

Дядя предупредил меня весной, что у нас на всё лето снимет комнату художница и чтобы я не особенно попадался ей на глаза. Я не попадался ей на глаза пол-лета, но подглядывал, когда был свободен от работы. Я видел, что она скучает.

Но я не все вечера видел её, потому что к этому времени поступил в дружину содействия милиции, и мы делали обходы по посёлку. Мы задерживали хулиганов и доставляли их в отделение, а я ловил пьяных и отправлял всех в вытрезвитель. Пьяных я не боюсь и с любимым из них слажу. А кроме того мы дежурили в кино и бесплатно смотрели фильмы. Но меня часто выводили из кино, потому что я громко хохотал.

Когда меня выводили из кино, я думал о ней.

Я много слышал про любовь и знаю частушки про это, и ребята мне подробно объясняли. Я знаю, что ребята любят врать и любят смеяться. Но у меня не было ни одного романа. Правда, стоило какой-нибудь девчонке сделать при мне неосторожное движение, и я мутнел. Так с комсоргшей однажды вышло. Мы сидели одни в комсомольской комнате. Вдруг она поднимает юбку и начинает цеплять чулок. И говорит: "Что же ты отошёл? Нам многое надо обсудить". А сама смотрит на меня чёрными глазами и цепляет чулок. Я тогда побежал и налетел на стену, потому что прекратил видеть.

Когда убежишь, дышится с дрожью, но вольно. Я люблю убежать.

Я люблю смотреть на просторное небо. По-моему, туда здорово смотреть.

Мне хотелось, чтобы у нас с художницей был роман.

На следующий день после первого рисования я снова повстречал её во дворе. Прежде я не удержался из-за любопытства, а теперь нарочно подошёл. Она улыбнулась, поздоровалась и протянула мне кисточки и краски.

Я нарисовал забор низким-низким, чтобы он не закрывал просторного неба. И покрасил забор в зелёный и чёрный цвета, чтобы забор напоминал лес. Я хотел нарисовать и её, но она не получилась. Получилось что-то похожее на стрекозу. Но, как ни бился, крылья прозрачными не хотели выходить.

Вот когда они стояли на плотине и держались за руки, мне показалось, что её руки прозрачны, как крылья у стрекозы, и мне почудилось, что она хочет вырваться от него и улететь. Я от восторга чуть не выскочил из-за кустов и не захлопал в ладоши. Но я боюсь

выскакивать. Я за всю жизнь ни разу ниоткуда не выскочил. Я люблю убежать.

Она посмотрела на мой новый рисунок и сказала, что я самородок. Она села сзади меня и повыше меня на завалинок. Я сидел на траве. Она была совсем рядом — я чувствовал возле уха её голые колени.

Мне хотелось романа, но я не знал, как его сделать. Мне хотелось схватить её за колени, но я подумал, что из этого выйдет нероман.

Она стала расспрашивать, учусь ли я, или учился ли я, и где, и сколько учился, и что делаю, и женат ли я. Я не знал, что отвечать, и не знал, как вести себя. Я сел на краски и вымазал брюки. Она жутко испугалась, а я убежал в сарай.

Она вся подтянутая, и у неё заметно колыхнется грудь. Я подглядывал за нею в щелку сарая. Волосы её тоже колыхались от ветра, но грудь от дыхания колыхнется куда приятней. Она долго ждала меня и глядела на двери сарая. Вышел дядя из дома и спросил её. Она сказала дяде про меня. Дядя сказал ей, что живу в сарае и что ждать меня и звать не надо.

Но он не сказал ей, что я идиот.

В этот вечер я пошёл в милицию и попросился в милиционеры. Я знал, что у них освободилось место и они ждут, когда им пришлют новобранца. Я пообещался нести службу исправно и усердно. Эти два слова я выучил загодя.

Начальник долго колебался, брать ли меня. Ведь у меня белый билет по причине моей умственной неполноценности. Когда меня принимали в комсомол, то тоже долго колебались, принимать ли. Но я тогда сказал, что умею хорошо работать и хочу всем добра. И меня приняли. Точно так же случилось и на этот раз.

Мне сказали, что через два дня я смогу приступить к обязанностям и получу форму. Меня спросили, какого размера я ношу сапоги. Я ответил, что сапог никогда не носил.

Я обнаружил, что милиционеры тоже пьют водку. Видно, и у них плохо поставлена комсомольская работа. Странно. Ведь и у милиционеров рождаются дети.

Иногда я вспоминаю, что все люди — организмы, точно так же, как лошади и кузнечики. И я тогда думаю, что не такое уж имеет значение, что я идиот. Потому что все мы организмы. Стоит мне вспомнить про организм, и начальник для меня уже не начальник, а я уже не мутнею от женских ног.

Вообще-то мутнеть приятно, но страшно. По-моему, начальники специально мутнеют, чтобы казаться страшными.

После милиции я пошёл в кино и там заплакал, хотя сильно радовался, что получу новые сапоги. Я не дождался, пока меня выведут из зала, и сам убежал. Почему я так люблю убежать ?

Мне часто кажется, что все мы скоро погибнем, потому что много развелось неорганизованных. Ведь бомбы — неорганизованные. А организмы всё больше пьют водку, и от них получаются плохие дети. Может быть, поэтому я люблю убежать ?

Я прибежал в сарай и забился на сеновале в угол, но вскоре услышал, как открылась дверь в доме. Я прикинул к щели и увидел, что она вышла во двор и села на завалинок. Она стала глядеть на сарай.

Небо было густое, как чернила, и по нему плавали звёзды.

Я спросил в щель, почему она не спит. Она вздрогнула и сказала, что ей не спится.

Тогда я сказал, что в нашем посёлке всё грязно, кроме неба, витрин в магазине и новых обоев.

А она сказала, что по небу только что пролетел спутник.

И тогда я вышел к ней.

Я хорошо помнил, что она организм. Мне было спокойно и тихо. Я поцеловал её как организм.

Она сказала, что ей было одиноко здесь и страшно, что все мужчины в посёлке казались ей дикими. А я тихо целовал её в щёку.

Когда я плачу, то хрюкаю, и когда смеюсь, хрюкаю. Но когда целовал, почувствовал, что совсем не хрюкаю.

Она тоже поцеловала меня в глаз, а потом сказала, что ей пора спать и что завтра она снова придёт смотреть на небо.

У меня уже начинало мутнеть, но я решил послушаться её и оставить роман до завтра.

На следующее утро я побежал на завод и уволился. Как только уволился, то вернулся домой, но дома её не застал. Я почему-то обеспокоился и подумал, что зря у нас не было вчера романа. Я вошёл в её комнату. Комната была вся увешана картинками. Мне захотелось, чтобы и сама её комната стала картиной. Я сбегал в сад и срезал там все розы, какие были. Я сильно обколол руки о шипы.

Я пробовал ставить розы в ведро, в кастрюли, в ковш и в стаканы, но каждый раз мне не нравилось. Тогда я сходил на завод и набрал там разных глиняных вазочек. (На нашем заводе кроме кирпичика делают ещё и глиняную посуду).

Я принёс вазы домой и распределил по ним розы. Серую вазу формы дыни я набил битком полураспустившимися розами, у которых жёлтые лепестки с красными ободками. В тонкую высокую вазочку чёрного цвета я поместил всего одну ветку бледнорозовой розы с двумя бутонами и одним цветком. В зелёную вазу я поставил

красные розы. А в широкую, как корытце, вазочку я положил, так что они свисали за борт, несколько белых и одну пунцовую розу. Оставшиеся сосуды разных форм я наделил розами, которые почему-то не подошли к основным вазам. Осыпавшиеся лепестки я не стал выметать, а сгруппировал их возле будто бы небрежно, но на самом деле аккуратно, чтобы было красиво.

Она вернулась и смутилась, увидав в комнате такое количество роз. Она сказала, что я постоянно делаю ей сюрпризы и что у меня редкий вкус. А я подумал, что у меня кроме вкуса есть и обоняние, и что я вполне могу быть мужем.

Я думал тогда, что дети должны быть как розы. Но у меня, наверное, не будет детей.

Она сказала, что завтра к ней приедет товарищ, она получила телеграмму. Она, оказывается, бегала на площадь, чтобы узнать расписание автобусов.

Мне стало невыразимо тяжело, так что захотелось проглотить. Я заплакал и убежал в поле глядеть на просторное небо. В поле я задохнулся и чуть не стошнил, но потом мне отлегло.

Тогда я пошёл в милицию. В милиции мне выдали обмундирование. Сапоги оказались старыми.

В милиции обыскивали пьяную девку и называли её шлюхой. Она вырывалась и называла всех сволочами. Я ударил её кулаком по голове, и она упала.

Ночью я подглядывал в щелку сарая. Наконец, художница вышла и села на завалинок. Я вышел к ней.

Она сказала, что очень грустно, что так получилось, что она благодарна мне за что-то, и что надо " всё " забыть. И ещё она сказала, что лучше, чтобы я не попадался больше на глаза. Она сказала : " Лучше, чтобы мы не встречались ", но это значило, чтоб я не попадался больше на глаза. Я идиот, но такие вещи понимаю.

Глаза у неё серые даже под луной.

Я схватил её за колени и залез головой в юбку. Она оттолкнула меня и сказала : " Господи ! Я думала, что вы... Как это тривиально... "

Я весь дрожал и заявил ей, что нет, это не тривиально. Я не знал, что значит это слово, но не мог не возражать.

А потом я говорил много-много, не помню что, а кончил тем : пусть она делает, что хочет, но отдаст мне моего ребёнка. Я сказал, что они не смеют вырезать из себя моих детей.

Утром я пошёл в милицию. У меня сильно горело лицо, оттого что ночью я вытирал слёзы соломой. Зачем она назвала меня идиотом ? Я ведь сам знаю, что я идиот !

В милиции стоял переполох. Та девица, которую вчера обыскивали, отравилась. Оказывается, она вовсе не шлюха, а возвращалась домой с дня рождения подруги. Её продержали в камере до шести утра, а вернувшись домой, она отравилась насмерть. На начальника милиции подано в суд. Мне сказали, чтобы я вернул обмундирование.

Я пошёл домой. На обратном пути я увидел, как художница с незнакомым юношей, видимо, её товарищем, поднимаются на плотину. Я спрятался в кусты и стал следить за ними.

Интересно, что будут делать при коммунизме идиоты? А, может, при коммунизме идиотов не будет? Как всё сложно! Я ничего не пойму.

Вода была чёрная-чёрная, но в ней отражались облака и кусочки голубого неба. А они смотрели на лес.

Художница была похожа на стрекозу, и я надеялся, что её товарищ тоже окажется диким. Но они скрылись за насыпью, и всё стало очень пусто.

Дома я начистил сапоги и уже начищенными вернул их в милицию.

Елизавета Мнацаканова

ВЕЛИКОЕ ТИХОЕ МОРЕ

Десять стихотворений памяти Анны N.

1

отрадой поют последние ветры последнего лета над великим и
тихим морем

ПРОЩАНИЕ

великих и тихих морей навсегда великое тихое навсегда навсегда

ПРОЩАНИЕ

отрадно поют отрадой всегда навсегда отрадно над морем
прохладным

ПРОЩАНИЕ

ПРОЩАЙТЕ

морей тихих морей тихие ветры поют навсегда всегда навсегда

ПРОЩАНИЕ

2

это тихие побегии моря тихого моря тихо растворяются в памяти
людей

морей моей памяти побегии тихие тихий бег времени в тихой памяти
лета буквы тихого моря горят золотом тихого лета в памяти людей
уплывает в море тихое золото вечера вечное золото вечеров тихого
лета в памяти людей морей вечерним золотом на тротуаре бульвара
бульвара тротуара бульваре тротуара бульвара бульвара бульвара
тихое золото горит догорает

на

бульваре тротуара тротуаре тротуара

бульвара бульваре

3

когда-то тогда да тогда-то когда когда-то то
 гда где не помнишь ? ты
 помнишь ? там там-то
 тогда то то время ты ты пом
 нишь ? тогда да да да на
 на бульваре

бульваре
 золотые тени дрожали под холодом ветра
 на бульваре

4

великое тихое море и мёртва и мёртва и мёртва

великое мёртвое море и тиха и тиха и тиха

великое тихое море и мёртвая воля и мёртвая волн

мёртвых осколок мёртвая пена

5

мёртвая пена пелена мёртвых волн волны
 мёртвой плен и пение

мёртвых волн полон и мёртвое пение

волны мимолётной мёртвой пленение пение
 моё над волною

6

я думаю молча, я думаю часто : какая ты стала другая ? друг
 прежний, друг нежный, какая ты стала другая ?

другая и дружба с другими вещами ? друг вещей, друг
 вечный, и дружба с другими вещами ?

так думаю молча, так думаю вечно : она ведь с другими
 вещами ? вещами ? она теперь что же ? она теперь — вещью ?

зови её вещью, зови её тенью : она теперь — вещью ? друг
ая ? я ? я мертва ? мертва я, она же — другая...

зови её — вещью ; зови её — вечно ; другая она, друг
ая а я ? я мёртвая я я я мертва я мертва я мертвая,

она же — другая. зови её вещью, зови её вечно : друг
ая она, я же мёртва, мертва я, мёртвая...

так думаю молча.

так думаю вечно.

7

ты прежде умела : ты прежде сидела, стояла, ты
прежде ходила, ты прежде умела умела умела умела

ты прежде умела : теперь знать позабыла, что прежде
умела что прежде что что что что умела

стоять : на тротуаре бульвара стоять : на тротуаре
на трауре на тротуаре на бульваре тротуара

на тротуаре умела умела умела теперь позабыто
но можешь ? но вспомнишь ? на бульваре тротуаратроттуара
траур траур траур бульвара
теперь позабыла, что прежде имела что имела имела умела умела
умела умела

умерла

8

другая теперь, я же мёртвая. друг
прежний, другая ты : мёртвой пены во мне

мёртвое пение
но как говорить с тобой ? можешь ? вспомнишь ?

как пены мёртвой вода тобою мёртвой
прольётся ?

можешь ? можешь ? ты можешь ? ты ты моо ре тытыты мо
гла бы мёртвое мо мо мо ре мор е мёртвых вспо вспоо мнить ?

морская вода морская морская вода морская волна морская
вода морская сле

да морской волны да морской волны сле
ды мёртвой воды над водою тобою

круги мёртвой воды наша память о мёртвых в изгнании
круги мёртвой воды наша память о мёртвых в молчании

так думаю молча : теперь уже знаю : мёртвым пятном расплываются
мёртвые в памяти нашей мёртвые мы, мы мертвы, когда друг
другой

другой когда другой умирает : мы мы мертвы, когда когда да

9

так думаю молча : теперь уже знаю навечно : мёртвым пятном
расплываются мёртвые растворяются мёртвые мёртвым пятном
уплывают

наши мёртвые уплывают мёртвые в мёртвые моря уплывают
наши мёртвые в моря великие тихие моря уплывают наши
мёртвые

уплывают

и вот что я знаю : теперь ты влаги мёртвой влаги мёртвое мёртвое
теперь ты я теперь знаю : мёртвы мёртвые мёртвой

водою мертвы мёртвой водою мертвы вы вы вы ты но ты ?
ты ? мёртвой воды мёртвые круги в памяти нашей, но ты ?
но ты ? но ты ?

10

темноты темноты мёртвое пение мертвы мертвы в памяти
мёртвых, но ты ? мертвы вы вы вы ты ты

ты теперь ты теперь ты моря мёртвое пение пелена
мёртвых волн морская пена над памятью нашей пелена мёртвых

волн плен полон мёртвых волн плен и мёртвое пение теперь ты
волн волны власть надо мною больною теперь ты

влаги власть надо мною больною больною теперь ты надо мною
волною морскою водою морскою солёной водою водою морскою

волною морскою водою теперь ты надо мною солёной волною сле
дами твоими иду плыву над тобой уплываю и знаю : теперь ты
волна

теперь ты морская волна солёной волной солёной водой над
тобой плыву кругами иду плыву над тобою над волной солёной
сле

дами иду плыву уплываю и знаю и знаю и знаю

морская вода надо мною, и знаю : водою волною великого тихого
моря расплываются мёртвые в памяти нашей, и знаю, и знаю :
волною

волною водою солёной водою плыву над тобою, и знаю : волной
водою
водою, но ты но ты но тыты помнишь ? ты знаешь ?
большая вода над тобою

но знаешь ? но видишь ? твоя над тобою больная больная больная
но знаешь ? но видишь ? твоя над тобою больная больная
но помнишь ?

больная больна я больна над тобою больная большая вода над тобою
волною плыву волна я больная но помнишь ? но вспомнишь ?
волною

плыву над тобою, но помнишь ? но вспомнишь ? волною больная
большая
вода, но помнишь ? но вспомнишь ? морская вода больная,
но вспомнишь ?

волною вольная большая морская
вода морская волна большая

морская ты помнишь ? ты вспомнишь ? большая морская ты
помнишь ? помнишь ? большая

морская

5-20 июля 1977

Ольга Черемшанова

О ЗЛОДЕЙСКОМ ДЕЯНИИ СЕСТРЫ ЕВУЛЛЫ

Балет в одном действии и двух картинах

Действующие лица :

Евулла, егуменья Ураитского монастыря
Савелий, отрок, заплутавшийся в горах
Привратница
Гликерия
Ирина монахини
Мастридия
Нонна
Монахини и послушницы

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Монастырь дальний в Ураитских горах.

Сени монастырские.

Тёмные брёвна, прильнувшие равнодушно друг к другу, замыкают будто мысли какие смутные...

Четыре двери.

Четыре двери... и имя им одно, а лики додверные, что человечьи, все разные, и скрывают они разное.

Вот вправо — широкая, строгая, обитая войлоком, входная.

Приоткрой — лес любопытно заглянет. Уж и так заглядывает он в дверной глазок. Да в него многому не насмотришься.

Бушует непогода в горах. Расталкивает, свирепая, старые деревья, набегаёт на монастырь старый, стучится в тёмные стены да крепки стены — не сокрушишь...

Взглянешь влево — тоже дверь.

Тёмная та дверь в церковь ведёт.

Икона над ней чёрная, многовековое письмо.

Под ней лампада горит, и то не разберёшь лика.

Лампада зелёная. Теплится — что знак огненный, вопрошающий, что маленькая мысль, бессильная дотянуться до понимания древнего письма.

У тёмной двери, что в церковь ведёт — другая, маленькая, смиренно притаилась.

Эта в ризницу, и задвижка на той двери тяжёлая, чугунная. Давит дверь смиренную.

И прямо, как бросишь взгляд — опять дверь, та во внутренние покои монастырские открывается. Одностворчатая она и тёплым войлоком обита.

Тишина.

Как словно перед праздником каким чистотой наполнено всё. Будто сами стены приходил старец какой исповедывать.

Торжественная такая тишина, и суета в ней какая-то затаённая чуется.

Дверь, что в покои монастырские ведёт, то и дело открывается, и монахини из них выходят, в церковные двери направляются, шагами мелкими, торопливо-скрытными. То ткань какую пронесут, то цветы, целые охапки цветов полевых да зелени всякой.

Словно готовится монастырь к празднику какому, к торжеству какому светлому, а сумерки надвигаются, а непогода бушует в горах Ураитских.

И только молния через глазок дверной да гром победный врываются в таинственную суету.

Безмолвно сидит у входной двери старушка привратница.

Будто и дела ей никакого нет ни до бури, ни до приготовлений монастырских.

А только и заботы — чужого кого через порог святой не впустить. Да кто чужой в такую непогодицу заглянет ?

Дремлет старушка привратница.

И вот на время, ненадолго всё затихло, и монастырские негромкие хлопоты, и буря. Но что это ? Буря распахнула дверь или рука дерзкая, чужая ? Вздрыгнула старушка-привратница. Отворила широко глаза. На пороге — чужой. Чёрный плащ, весь смоченный дождём, до самого пола спускается. Чёрная шапка на самые глаза надвинута. Дверь заперта порывной рукой. "С нами крестная сила !" В молчании стоит отрок, тонкий и стройный, как струна

натянутая. И словно внёс он в тёмные стены молнии и громы, и вихри непогодные, и сумрак гор, и плутанье в горных тропах.

Буря с тишиной столкнулась, и от удара такого словно замерла и привратница старая, и отрок.

Оглядывает юноша тёмные стены...

Зашептали старые губы, с дрожью крестится нерадивая привратница: "Да воскреснет Бог и да расточатся..."

— На долгом горном пути застигла непогодица. Вихри терзали тело и глаза, слепили молнии, и гром надрывал слух мой... Оставили меня силы мои... — Опускается отрок на скамью у двери. — "И не введи нас во искушение..."

— Жажда и голод одолели меня...

"Просите, и накормят вас... избави нас от лукавого... да расточатся враги". — Словно от сна изумлённого вывел старушку жалобный отроков голос.

— Ах ты, соколик злосчастный. Как же быть-то мне? По уставу не положено. Монастырь-то женский... не дозволено. Да уж больно жалко... Ну, уж посиди вот здесь, а я чего соберу поесть да попить, уж устрою...

Торопливо выходит привратница во внутренние покои монастырские, а юноша тихо сидит на скамье, словно отойти ещё не может от грозových завываний и бури.

Чёрный плащ покрывает его всего, и в сумраке и не разобрать сразу, кто сидит на придверной скамье.

Всё отдаляется гроза и стихает. И вот полная тишина и покой.

Медленно открывается дверь во внутренние покои монастырские.

И словно выплывает из бесконечной какой-то дали, выходит шагом строгим и осторожным — егуменья монастырская — красавица — настоятельница сестра Евулла. В руках чашу несёт серебряную, и, видно, полна чаша до краёв, потому уж очень бережны руки несущие. Уж с большой осторожностью брови чёрные сдвинуты и ресницы опущены. Чёрное одеяние смиренной отшельницы не может скрыть стройность тела молодого. Шаги чуть отбрасывают край одежды, и видны ноги, обутые в чёрные строгие башмачки, и только между ними и краем одежды — просвет. Верно, босые белые ноги. И словно поют осторожные ноги: "Не моги заглянуть в чашу сию, ни молния дерзкая, ни глаз пытливый человечесий. Свято содержание чаши сей! Недостойно нести её шагом обыденным, неспраздничным. На концы своих пальцев поднялася я, чтоб нести сосуд мой..."

Медленно проходит Евулла в тёмные церковные двери...

Что олень, спугнутый охотничьим рогом, что ворон, разбуженный прохладой утренней, метнулся отрок за исчезнувшей затворницей, словно ум потерял, а сердце выстукивает шаги монахини : " Не моги заглянуть в чашу сияю, ни молния дерзкая, ни глаз пытливый человечесий ". А оторвать глаз ему невмочь, и двинуться не в силу ему. Но дверь чёрная скрыла красавицу... Встрепенулся юноша... Словно лёд весною реку могучую расколол, и сердце через уста, через всё тело прорывается крик победный : " Люблю... До начала века любовь эта над сердцем моим витала, до скончания ея казнить его будет... И кроме — ни истины, ни света... "

Входит старушка-привратница. Тихо прищёптывают старческие губы. Питъё и пища в руках её... Но всё забыто отроком — усталость, голод, буря. Всё существо — душа и плоть рвутся к закрытым дверям храма, где исчезла красавица Евулла. Подбегает к дверям, но объятая ужасом преграждает ему путь старуха. — " Да Бог с тобой... " — " Прежде чем вкусить угощение, дозвожь угодникам храма вашего поклониться ". — " И думать забудь, родимый... уж и так из жалости... супротив устава монастырского, прости Господи !

Вот тебе дверь в ризницу, вот тебе пища, питъё да одеяло тёплое, а не можешь туда, так вот тебе дверь — иди в ночь в бурю... "

— Нет сил покинуть стен этих чёрных, скрывающих её...

Быстро входит в ризницу. Тяжёлый засов задвигает осторожная старческая рука.

КАРТИНА ВТОРАЯ

Церковь.

Словно хоровод полукругом растянулся — иконы святых в рост человеческий. Посередине — алтарь закрытый и два клироса глубоких, направо, как взглянуть — окно узкое занавешенное — в ризницу оно, и пустой высокий крест заслоняет его.

В церкви полутьма и тишина торжественная. Только у иконы Гавриила архангела хлопочет сестра Гликерия, убирая икону цветами. Верно, только вот повешена икона тяжёлая : несколько огромных гвоздей и молот лежат около Гликерии. Отходит сестра Гликерия, смотрит на свою работу, потом молот да гвозди берёт и идёт к выходу, где крест стоит. Да тут глаза упали на ближнюю к кресту икону : " Ишь, ведь цветы как неладно устроила... "

Поправила цветы, уходит, забыв гвозди и молот у подножия креста, куда положила, поправляя цветы. Заботливо дверь закрывает.

Ждущая тишина... полумрак... Приотворяется окно в ризницу и лицо Савелия показывается в него. Он со вниманием осматривает всё вокруг, и видя, что пуста церковь, он быстро внутрь спрыгивает и останавливается. И в самый этот час открывается дверь, в сени ведущая, и Савелий прячется за широкий крест. Это сестра Гликерия входит с возжённой свечей и от неё медленно зажигает все лампы и паникадила... и так же тихо, шагами благоговейными выходит. И снова ждущая тишина.

Одна за другой торопливо входят монахини в чёрных своих одеяниях, низко надвинуты клобуки. Лиц не различить. Поспешно на глубокие клиросы расходятся.

... Свечи горят призывно, на праздник неведомый, радостный маня и предвещаая блаженство, неземные сладости.

С двух клиросов спускаются монахини, две с правого и две с левого плывут. Одежды чёрные скинуты. Рубахи на них снега чище. Опоясаны над бёдрами полотенцами. На головах их тёмных венки. В правой руке у них — кадило. В левой — свеча возжённая...

Торжественность и благодать неописная подняла чистых дев этих. Не на ступнях идут они, а словно земли не касаясь, на тонких пальцах приподнятые медленно церковь обходят. И словно в пляске плавной и светлой всё освещая свечами чистыми, всё пронизывая ладаном очищающим. Становятся девы у двух клиросов. Две против двух. Словно ожидание сковало их.

Одна за другой чинно с двух клиросов спускаются монахини... И также, как и у четырёх дев, рубахи на них белые и венки на головах, а в руках у каждой свеча зажжённая. И то так же, как и первых, торжественный покой и благодать поднял их со ступней на пальцы. Идут предчувствием радости проникнутые и в круг смыкаются ! И кружение начинается плавное, тихое, переходящее в бег, в сладостную тихую припрыжку. Свечи в девых руках потухают... Восторгом трепещут вздутые бегом рубахи. Блаженны зрачки расширенные, словно вместить неместимое хотят. Да словно воздуха не хватает, пляшущим, словно вся сила покинула тела. Размыкается хоровод и кличут руки простёртые к дверям замкнутым алтарным : " Богородица ! Богородица ! " О дыханьи истинном и силе молят руки.

Четыре девы с кадилами и свечами строятся перед алтарём.
Кличут девы пляской богородицу свою. Тропарь воспевается телом лёгким :

” Богородица-дева, радуйся,
Благодатная Евулла.
Господь с тобою.
Благословенна ты в жёнах,
Честнейшая херувим,
И славнейшая без сравненья серафим,
Пресвятая, пречистая, богородица,
Тя величаем ! ”

В ответ клику двери алтарные распахиваются.

Перед престолом, в белой рубахе, краше всех дев земных, прославленная в песнях призывных — сестра Евулла, богородица белого корабля. И не рубаха — а будто тысяча тончайших белых риз, вздутых нездешним ветром, охватывают тонкий её стан. А колени, что струны, что два луча солнечных палящих. Еле касаются пола крепкие и нежные её пальцы. На голове её словно венец из легчайших алмазов колыхнется и слепит. Как сияние над головой святых. В руках Евуллы — серебряная чаша. Стоит торжественно Евулла, с опущенными длинными ресницами стоит... Словно звуки неземные тончайшие и страстные и зовущие доносятся из отворённых врат алтаря, и словно звуками движимая медленным шагом спускается по ступеням амвона богородица Евулла.

Медленно, в смирении сладостном опускаются на колени притихшие сёстры. Торжественно обходит всех сестра Евулла и подчует их из чаши. И руки, подающие чашу, словно приговаривают : ” Испей мёда священного. От мёда сладок будет голос твой, тело трудолюбивее пчёл пребудет ! ” Обойдя всех сестёр, Евулла допивает влагу, оставшуюся в чаше, и медленно уходит к крайней правой иконе. Словно в дрему ушла вся. Словно вся ушла в созерцание глубин души своей.

А новая сила овладевает притихшими сёстрами.

Снова начинается пляска. Медленные кружения переходят в прыжки. И вот уже и круга нет, и стройности нет, но безудержна пляска научённая духом.

Ухватилась сестра Евулла за раму иконную. Глаза во всю ширь распхнуты, с восторгом глядит из них душа, полоненная огненным духом. А за крестом такие же расширенные и словно охмелевшие глаза...

Широко смотрят глаза Савелия на пляску. Руки впиваются в дерево, тело рвётся в манящее движение, а душа ещё не пускает, ещё нарастает в ней величие духа.

Вот новую душу по-новому просветил дух ; раздвигая ряды мятущиеся, тихо идёт Ирина — нежная, незлобивая сестра, и тихо пророчествует телом своим белым, и поют руки её, и вся она песней исходит : ” Лампада у меня в груди синяя. Лампада у меня до краёв наполненная. Малешенек огонёк лампадный... Беречь его мне, не загушить бы. Шаги мои тихи будьте ! Не расплескать бы мне лампы, не задуть бы тихий огонёк ”. И так велика сила духа, что сильней пляски безумной тихое пророчество.

Затихло всё, словно облако уплыло. И опять дух с новой силой овладевает сёстрами. Срывают они полотенца с бёдер своих и наученные духом хлещут тела свои грешные.

Что вихрь из нестройного круга вырывается, словно пьяная пивом небесным, сестра чернокудрая — неистовая Матридия ; скинут венок с головы её. Растрёпаны чёрные волосы — будто ветры пальцами дрожащими взёрошили их. Руки крутят святой жгутик, ударяя в ярости тело её :

” Хлыщу, хлыщу, Христа ищу,
Хлыщу, хлыщу, истину ищу...
Бей, бей, пей, пей, лей, лей !
Пиво божье на нас лей,
Не желей, не желей !
Ты святой небесный жгут,
Тут тебя все люди ждут...
Ты твори над телом суд,
Уплывём мы в божий пруд...
Ох, идут, идут, идут,
Слуги духовы идут,
Пиво пьяное несут,
Пиво пьяное несут,
Богородицу зовут.
Запляши ты нам, краса,
Про седьмые небеса,
Про седьмые небеса,
Про святые чудеса ”.

Разом пляски все остановились, словно молния сползла.

Все падают ниц, словно буря сокрушительная несётся. Тело Евуллы, исполненное духом благодатным поднятое, большими прыжками к алтарю несётся. И как смарагды иль алмазы, вылетевшие из пращи господней, впиваются меткие глаза богородицы в пустой крест.

Навстречу взгляду, навстречу буре огненной зовущей несётся Савелий, охваченный духом, словно подражая прыжкам богородицы. Так лев подражал бы взлёту горлицы. И коснулся зов — зова. Руки с руками сплелись.

И вот из старых рам хороводом выходят святые и круг благодати замыкают. Ни единой искре духа не вырваться из круга сего. Пусть раздирает и мечет и взметает он, как прах, тела заключённые в круг, тела отмеченные огненным знаком.

Словно невидимыми цепями сковывает их дух и единой рекой льётся вдохновенная духом пляска.

” Вихри меня кружат жаркие ?

Божье лобзание или руки твои

Пояс мой сжимают ? ”

Рвётся душа Евуллы к небесным садам, на пальцы поднялась и не загнула... В прыжке своём не допрыгнула... А рвётся к ним душа...

” Вознесу тебя, вознесу к свету звездному. Прочтёшь, возлюбленная, письма господни. Слова зачатые... Радуга осенит твоё тело пречистое.

Да будут руки мои твоим фавором. Да преобразят они тебя на высоте своей...”

” Не струна ли я из гуслей господних ? Чую, рвёт меня могучая рука и томит, и песню вырывает. Огнём исхожу или кровью во славу влекущего меня ”.

” ... И огнём и кровью, и духом, и вихрем и взлётом...

Я — страж. Тара незаблемая. Фавор безоблачный. В груди — огонь. Взметну тебя, как пламя... В звездную пену руки вскинь. Слава огню, железу, духу.

Аминь. ”

Замерла Евулла на возносящих её руках.

Как соломинка костром огненным вознесенная, как ветром гонимая былинка, вся силой его напоенная, так горящая преображенная богородица истинная Евулла плясом духа нас дарит.

Тело ли ? Нет, не тело — душа Евуллы пляшет, тело поднимая. Рвётся душа Евуллы к горним огням и тело несёт в прыжках безудержных. Нигде полёта такого не видели, нигде о полёте таком не слышали, разве что на иконах намёками — полёты ангельские. И не птичий полёт, не звериный скок какой новый — шаг духа, несущего тело силой своей...

” Нет удержу, боже, кружит дух, кружит ”. Вихри нездешних бурь заоблачных вздувают ризы богородицы.

Как точка из огня — остановка. Как факелы, глаза горящие... Миг молчания и тишины...

Кого-то всосёт огонь богородицыных кругов, кто бурей огненной зачаруется ?

Во взлётах бурных иль в тихих шагах неслышных благодать понесёт...

Сестра тихая Нонна завела песню новую : ” Вы, ноженьки мои белые, не быстро несите меня ; луг божий цветами благодными покрыт... Вы, ноженьки белые, цветов не стопчите... Я в рученьках своих да свечу несущу, свечу возжённую благодатью, никого она безбурная не спалит. Костры искрометные не возжёт... И пройду меж цветов, не измявши их...

Благодна вышняя божья синь,

Слава богородице, слава !

Аминь ”.

Словно ласточка синекрылая промелькнула, и снова тишь, а распирает сердца от огненных волн круг благодати, круг святых.

Что стрела из лука, натянутого рукой божьей, так взлетает в порывном пророчестве Савелий.

” Господи, господи ! Тело моё вихри твои вздымают. Грамота твоя, господи, в выси звездной... Дух крылья

мне расправил,

От косности земной избавил.

Рвусь я к тебе, благий !

Дух, огонь распирают грудь,

Милостив, горний, будь ”.

Словно тело-перо в руке чьей-то мудрой расчеркивает грамоту небесную, и вот остановилась рука. Вот последний росчерк богородицы.

И вот чертит, чертит нога Евуллы блаженные круги. Словно плеть сладостная, очистительная развернуться желает в руке благой. И есть ли хлеще, душистей плеть — ноги твоей, богородица. Блажен воздух, иссеченный пречистой твоей ногой. И вот раскрутилась огненная плеть. Прошелестели росчерки последние... Летит богородица ввысь, но руки преображающие и смелые подхватывают тело пречистое... руки Савелия, как золотые рога Оленя, царственно вскидывают святую ношу — тело пречистое Евуллы...

Победно и громко трубят золотые трубы.

Бурно дух подхватывает все тела для последнего, прощального кружения... Дух отлетает. Как мёртвые, падают сёстры... Усталость сломила...

Теплятся свечи. Святые спокойны в своих рамах.

И вот неумолимо громко, словно у самой стены, пропел петух.

Забрезжилась жизнь в утомленных телах...

Подымается Евулла... и сёстры вслед за нею будто от сна пробуждаются... И вдруг ужас сковывает ещё не прояснившийся разум.

У креста, бледный, без признака чувств, лежит незнакомый им отрок...

Несвязно бредут, спотыкаясь, мысли в головах ещё отуманенных небесным хмелем... Обрывки воспоминаний. Мечутся от иконы к иконе, не святой ли, не нашедший рамы своей ? Но все святые на месте своём... " Свидетель открыл убежище людей божьих... и тайные дела... предательство... "

Зрачки зоркие Евуллы впиваются в крест пустой вопрошающий. Зачем тут поставлен крест этот ? И молот в подножье его и гвозди. Откуда молот здесь — и гвозди ?

" Распять... распять... дух... велит... дух... велит "

Поднимают тело безжизненного отрока лихорадочные руки и волокут к кресту.

Евулла закрывает голову Савелия полотенцем, чтоб не видеть лика его, чтоб не вспомнить...

Много рук держат тело. Вбивают первый гвоздь... второй... третий... четвёртый и... отбегают...

Евулла срывает полотенце с головы распятого... и в тот же миг крик вырывается, но не из уст отрока широко открытых. Все замирают...

II-III/26 г. — II/28 г.
Волга — Ленинград.

Об авторе "Евуллы"

Ольга Александровна Чижова, писавшая и выступавшая под псевдонимом Черемшанова, родилась в начале века в Сибири, в старообрядческой купеческой семье. По основному своему занятию была актрисой. Много занималась собиранием фольклора, особенно сектантского, хлыстовского. Это сблизило её с поэтессой Анной Радловой, которая тоже писала на эти темы (стихотворная пьеса "Богородицын корабль", неизданная "Повесть о Татариновой").

Единственная книжка стихов Черемшановой вышла в 1922 году с предисловием М. Кузмина. Ничто из последующего не было опубликовано. Когда она принесла в больницу к умиравшему знаменитому критику Акиму Волынскому свой неизданный "хлыстовский" сборник "Крылатый круг", тот, вечно брюзжавший на современную ему поэзию, сказал: "Вот приходит настоящее, а уже глаза закрываются".

Либретто "О злодейском деянии сестры Евуллы" было, по словам Черемшановой, передано в своё время Дягилеву в Париж, и тот, заинтересовавшись им, хотел его ставить.

Умерла Черемшанова в Ленинграде в 1970 году от разрыва сердца.

Л.Ч.

Василий Яновский

О ЗАПАДНЕ

Я жил в городе месяц, год ; может быть, пять лет. Пока я не сказал : " Ты чужой в этом городе, чужой среди чужих. Что тебя удерживает здесь ? "

Я поселился в другом городе, высоко, в большом доме, где зимою и летом текла в трубах горячая вода, где уборные согревались неизвестно кем, где ночью Ангел Разлуки поднимался на девятый этаж в пустом лифте. И однажды в полночь, когда по коридору кто-то тихо брёл, останавливаясь на мгновение у каждой двери, я сказал : " Ты чужой в этом городе, чужой среди чужих... " — и выбравшись на немую улицу, не мешкая побежал прочь.

Невдалеке за городской чертой я встретил людей, строивших новый посёлок. Я стал им помогать. Но раньше чем явственно обозначились границы образцового стана, я уже сказал : " Ты чужой среди чужих. Посмотри, ты сам себе стал чужой... " И побрёл дальше. Предо мной много дорог. Я спросил себя : " Куда пойти, чтобы выйти за пределы этих избитых тропинок ? Иными я уже хаживал, о других мне рассказывали встречные, но ни одна не приводила к цели ". Тогда я сказал : " Ты чужой на этой земле. Что тебя удерживает здесь ? " Но ещё прежде, чем заняться рассмотрением возможностей переселения на другую планету, я всей мыслью своей уже ощутил холод новой земли и ненавистную мне очередную систему мер и весов. Тогда я сказал : " Ты в западне ".

И кто-то повторил моими устами : " Ты в западне ".

Но только что это было произнесено, как взвилась завеса и я вдруг увидел синее небо. Тогда я сказал : " Как это ужасно — любоваться небом из западни ; и это небо, может быть, только кажется синим ".

Опять кто-то повторил за мною : " Ужасно... кажется ".

Я отвернулся от синевы ; но с противоположной стороны, куда я взглянул, предо мною снова щедро открылось небо : повсюду, казалось, рушились стены, распахивались двери, и оставалось только

шагнуть, чтобы обрести свободу. Но я не двигался с места, потому что знал уже о западне.

А кругом меня люди с жаром устремлялись в образовавшиеся бреши, но у самого порога их отбрасывало назад, словно они упирались в преграду. И оттого что стена, о которую они ударялись, была незрима, поведение их казалось нелепым: это походило на игру пьяных акробатов. Я же и те, что со мною, оцепеневшие, мы тоже ходили на сумасшедших. Так, чужие среди чужих, ум отстранившие среди его потерявших, мы оставались неподвижными.

Чтобы узнавать друга без труда, мы надели арестантские халаты. С тех пор и повелось: люди в арестантских халатах не носят ярма.

И только иногда, во сне, я вижу белого Архангела, протягивающего свою бесплотную руку к сверкающей на солнце стальной трубе. Тогда я просыпаюсь весь в слезах, в стремительной потуге куда-то немедленно бежать и наверстать упущенное. Но чей-то мужественный голос произносит моими губами: "Сколько раз присягает посвященный?"

О СТАТЬЯХ АМАЛЬРИКА

Положение с художественной критикой сейчас из рук вон плохое. К примеру, хотя в Париже в течение последних лет прошло несколько выставок "неофициальных" советских художников, никто так ничего вразумительного и не написал по интереснейшему вопросу: как на фоне современной западной живописи выглядит развивавшееся в вынужденной изоляции неконформистское советское искусство, или почему одни художники-эмигранты процветают, а другие прозябают? Разумеется, еще больше вопросов возникает по поводу положения в Советском Союзе. Помнится, еще когда я был близок к соответствующим кругам в Москве, у меня мелькала мысль — кто, собственно, руководит кем: ЦК ли КПСС определяет политику в области живописи или же члены правления Союза художников, которые не хотят и не могут писать по-новому, внушают ЦК свои понятия об истинно советской живописи.

Попытку сопоставить советскому неконформистскому искусству неконформистскую критику предпринял Андрей Амальрик еще в 1967 году. Результатом явились три статьи о художниках: Анатолии Звереве, Оскаре Рабине и Владимире Вейсберге (опубликованы в "Континенте" № 10 за 1976 год) и четыре статьи о московских коллекционерах, которые мы воспроизводим в несколько сокращенном виде, что продиктовано сравнительно небольшим объемом нашего журнала. Эти последние не только вводят в своеобразный мир коллекционеров, но и содержат своего рода перечень имен, которые должен знать всякий, желающий ознакомиться с русской живописью первой половины XX века, а для тех, кто с ней знаком, эти имена прозвучат как музыка.

К сожалению, продолжить свою работу в этом направлении Амальрик не смог: хотя эти семь статей были заказаны ему АПН, в СССР они опубликованы не были, и вообще разногласия Амальрика с официальной доктриной зашли гораздо дальше вопросов восприятия абстрактной живописи, в результате чего из исполняющихся ему в этом году 40 лет он более шести провел в тюрьмах, лагерях и ссылках.

Сравнительно недавно он написал введение к своим старым статьям, которое мы приводим ниже и которое кончается фразой: "Сейчас я уже довольно далек от мира художников, чтобы подробно писать об этом, но все это, вместе взятое даст почувствовать незабываемую для меня атмосферу неофициального художественного мира Москвы шестидесятых годов".

А. Крон

Андрей Амальрик

ХУДОЖНИКИ И КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ

В МОСКВЕ

ВВЕДЕНИЕ

История живописи Советской России довольно любопытна — живопись, пожалуй, последней была включена в советскую тоталитарную систему. Если художник, застигнутый этим процессом в годы своей зрелости, должен был мучительно перестраиваться или погибать, то молодой художник сразу воспитывался на этих канонах и большей частью не мог даже представить себе ничего иного. Однако как только вся общественная система испытала конвульсию десталинизации и как только начались — после тридцатилетнего перерыва — соприкосновения с искусством Запада, почти одновременно несколько молодых художников попытались начать работать по-новому. Прежде всего их искусство было интересно своей негативной стороной — разрывом с тем, что им долго навязывали, — да и их в первую очередь интересовало именно это. Затем последовали долгие поиски, если так можно сказать, самих себя, которые для некоторых из них были весьма плодотворны, для других, впрочем, кончились ничем.

Как бы то ни было, с конца пятидесятих годов в России появилась все расширяющаяся группа "неофициальных" художников — и параллельно с официальным искусством, т.е. направляемым и поддерживаемым государством, стало существовать "неофициальное".

"Неофициальное" искусство не ограничивалось только живописью, но есть довольно простое объяснение, почему этот процесс "дезофициализации" начался и протекал столь успешно именно в живописи. Это объясняется технической простотой изготовления картины, дешевизной материала и наличием рынка, дающего средства к существованию. Быть может, еще легче было писать стихи — требовались лишь ручка и бумага, и неопубликованные стихи стали появляться в огромном количестве,

но поэтам никто не платил за автографы, и поэтому независимая поэзия оказалась в социальном смысле весьма неустойчива. Краска имела еще одно преимущество в сравнении со словом: с какой бы враждебностью власти не относились, скажем, к абстрактной живописи, в антипатичном им хаосе пятен на холсте они все же не могли усмотреть "антисоветской агитации и пропаганды" и засадить художника в тюрьму.

Таковы были те условия, которые дали возможность появиться независимым художникам. Но очевидно также, что они должны были резко отличаться от основной массы живописцев, чтобы стать на неизведанный путь. Напршивается мысль, что это должны были быть люди с необычной психикой, отверженные, житейские неудачники, недоучки, а также те, чье художественное мышление складывалось в пограничных областях — в театральном декорационном искусстве, в книжной или прикладной графике и т.д. Так оно и было, и все дело, по-видимому, в том, что как раз эта житейская неустроенность и художественная невыученность не заблокировали подспудное стремление выразить заложенное в художнике "я", как это случилось бы с ним внутри системы.

С миром независимых художников я познакомился в 1962 году. Я впервые увидел, что человек искусства может противостоять тотальной системе, и для меня это имело огромное значение, я встал среди них на ноги, а то ведь я был уже сбит с ног и не видел никакого просвета в будущем.

Сам феномен "неофициального" искусства, его странные художники — талантливые и бездарные — казались мне очень интересными и заслуживающими того, чтобы их становление изучалось и не пропало для будущего исследователя. Я начал собирать материалы о "неофициальном" искусстве, анкетирова художников и уговаривая их писать автобиографии. К сожалению, часть этих материалов пропала во время моей первой ссылки в 1965-66 годах. Насколько я помню, я писал о Вейсберге, Звереве, Краснопевцеве, Мастерковой, Немухине, Плавинском, Рабине, Харитонове, Целкове. К тому времени появилось много имен, кто-то другой, возможно, сделал бы иной выбор.

В январе 1967 года в одном из московских клубов открылась выставка, в которой вместе с несколькими другими участвовали все эти художники, — и через час была закрыта властями, вызвав тем самым недоумение и интерес за границей. Через несколько месяцев я получил неожиданное предложение: Агентство печати Новости, занятое главным образом советской пропагандой за границу, заказало мне сначала серию статей о московских коллекционерах, а в

скором времени и о неофициальных художниках. Редактор разъяснил мне, что статьи о художниках нужны им для того, чтобы показать, что в СССР никто не преследует "неофициальных" художников и они имеют полную возможность работать как они хотят.

Какие бы цели ни ставило АПН, мне его предложение было интересно. Я выбрал для начала троих — Зверева, Рабина и Вейсберга. Последний был членом официального союза художников, но отстоял от принципов соцреализма дальше, чем любой известный мне художник.

Я выбрал этих трех художников, как я думаю, потому, что они были наиболее известны из "неофициальных", очень отличны друг от друга и представляли ярко три разных стиля и метода живописи. Думаю теперь, что не меньшую роль в моем выборе сыграло и то обстоятельство, что трое этих людей — каждый из которых незауряден — по-человечески привлекали меня и в первые годы знакомства каждый по своему повлияли на меня: Зверев — своеобразным чувством смешного, Рабин — здравым смыслом и стремлением к объективности, Вейсберг — всепоглощающим служением искусству и глубиной его понимания.

Несколько трудней для меня был выбор коллекционеров. Я начал со статьи об организации Клуба коллекционеров в Москве — эта статья единственная, которая через АПН была опубликована в Англии, — и затем написал о Якове Рубинштейне, Петре Данилове и Борисе Денисове, коллекционерах не очень известных и не вызывающих никаких опасений у властей. Затем я хотел писать о более противоречивых фигурах — Георгии Костаки, собиравшем русскую живопись первой трети нашего века, Нине Стивенс, имевшей в то время наиболее полное собрание современных неофициальных художников, и Феликсе Вишневском. Его коллекция, включающая русскую и европейскую живопись, мебель, фарфор, драгоценности, — уникальна. Вспоминаю, как мы с ним полдня ходили по его огромному дому, он завел меня в крошечный уголок, отгороженный шкафом, где он спал — над его кроватью висела картина Крахаха. Однако мне не пришлось больше ни о ком писать: внезапно АПН возвратило мне мои статьи о коллекционерах.

То обстоятельство, что статьи писались по заказу, наложило отпечаток и на их содержание, и на их стиль. Если бы я писал их, об АПН не думая, я скорее всего написал бы иначе. Но это не значит, что я написал что-то такое, от чего считаю нужным теперь отказаться. Можно сказать, что написанное здесь — это не вся правда, а только часть правды, но часть правды без вранья.

Зверев, Рабин и Вейсберг стояли у самых истоков русского "неофициального" искусства, которое за последние два десятилетия не только не погибло и не было задушено, но непрерывно развивалось, приобретая все большую хотя и не художественную, но социальную значимость. Художники давили на власти "снизу", пытаясь явочным порядком устраивать выставки на Западе и в СССР, тогда как власти давили на них "сверху". Эта политика достигла апогея в 1974 году, когда одна из выставок под открытым небом была разогнана с помощью бульдозеров. Это привлекло внимание всего мира и в конечном счете сослужило художникам хорошую службу: власти стали предоставлять им помещения для выставок, последняя из которых состоялась в сентябре 1975 года. Выставка, не инспирированная "сверху", а уступленная общественному давлению, небывалое событие в истории СССР. И если большинство выставленных работ производит скорее обескураживающее впечатление с художественной точки зрения, это все же та питательная среда, в которой смогут вырасти интересные художники.

Оценивая место "неофициального" искусства в истории русской живописи и его перспективы, следует сказать об одной особенности русского искусства вообще: о его непреемственности. Причина этого не в органическом развитии самого искусства, а в особенностях русской истории. Скифско-славянское искусство было вытеснено византийским, а оно в свою очередь западноевропейским — причем каждый раз это не было обогащением уже сложившихся традиций новым влиянием, а просто замещением старого новым — а это приводило к провинциализму русского искусства.

Провинциализмом объясняется еще одна досадная русская особенность: скудость той художественной почвы, из которой вырастает и которой противопоставляет себя каждое художественное течение. Естественно, что, отталкиваясь от той почвы, на которой оно стоит, особенно высоко оно прыгнуть не может. Неорганический процесс развития русского искусства не позволяет и западному влиянию стать стабилизирующим фактором.

Первая четверть нашего века была периодом известного расцвета русской живописи — под несомненным западным влиянием, с одной стороны, и как реакции против антиживописного передвижничества и академизма, с другой. Этот период — при всем его дилетантизме — дал нескольких художников с мировым именем и стал бы началом органического развития русского искусства — если бы ему решительно не был положен конец, как я уже писал здесь. Весь опыт начала века по-существу пропал даром, не найдя живого продолжения.

Не трудно понять, каково пришлось "неофициальному" искусству нашего времени, которое произросло и вынуждено было отталкиваться от не только скудной, но и просто враждебной искусству почвы соцреализма и получать импульсы с Запада не через творческие контакты, а через разрозненные репродукции и малочисленные выставки. К тому же, поскольку направления современного западного искусства разнообразнее и быстрее сменяют друг друга, чем это может переварить наше "неофициальное" искусство, это — наряду с малочисленностью "неофициальных" выставок — не позволяет ему органически развиваться и создавать внутри себя какие-либо устойчивые традиции. Поэтому незаметно влияния художников, работающих независимо с конца пятидесятых годов, на тех, кто начал работать в начале семидесятых.

Может быть, следует сказать несколько слов еще об одном амбивалентном факторе: уже не духовном, а материальном влиянии Запада на "неофициальных" художников. Я писал уже о рынке как об одном из условий существования "неофициального" искусства. Значительная доля этого рынка приходится на иностранцев — они, пожалуй, первыми начали покупать картины "неофициальных" художников как своего рода русскую экзотику. Конечно, это было и остается огромной поддержкой для художников, но вместе с тем постоянное "голосование рублем" малокомпетентных людей не могло не подталкивать художников навстречу их вкусам. Не могло это не привести и к возникновению типа художника-дельца, довольно ловко имитирующего то, что другим далось в результате мучительных поисков, и бесперебойно поставляющих на рынок то, что рынок хочет получить.

Но при всем этом начавшийся процесс освобождения живописи из пут тоталитарной системы очень интересен — интересен и как социальный процесс, и как процесс развития искусства, т.е. процесс духовный. Хотя я писал все время о "неофициальных" художниках, надо сказать, что процесс этот идет и внутри официального Союза художников, где тоже часть художников занята поисками, где кое-кто из старых пытается воспользоваться опытом своей молодости, а кое-кто из молодых — опытом своих "неофициальных" коллег, не говоря уже о художниках Запада. Даже официально создается своего рода неоконформистский стиль, пытающийся примирить старый соцреализм с новыми веяниями. Эрозия перемен, как и во всем нашем обществе, разъедает здесь, как ржавчина, казавшиеся нам ранее незыблемыми "железные установки".

1975-77 Москва — Утрехт.

ЧАСТНОЕ СОБРАНИЕ ИЛИ ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ?

Этот вопрос, который может показаться на Западе тавтологическим и лишенным смысла, иногда приобретал для советских коллекционеров болезненную остроту. В обществе, лишенном частной собственности, фигура коллекционера приобретала зловещие черты пушкинского скупого рыцаря, который прячет свои сокровища в подвале, чтобы в одиночестве наслаждаться ими при колеблющемся свете свечей. Лишь постепенно нам становится ясна подлинная роль коллекционера: роль человека, иногда даже более влюбленного в искусство, чем сам художник, человека, который открывает — не для себя, а для всех — новые и забытые имена, буквально спасает многие вещи. Большинство частных собраний, как правило, переходят в музеи. И еще: коллекционер создает для художника ту атмосферу творческого интереса, ту среду, которая почти так же важна, как и среда товарищей-профессионалов.

Кого же собирают русские коллекционеры ?

Как правило, их интересы обрываются где-то на середине двадцатых годов, это касается не только живописи, но и прикладного искусства. Многие собирают произведения конца XIX — начала XX века, эпохи русского ренессанса. Как ни странно, немалую роль тут играют сентиментальные мотивы — это время совпадает с детством и юношеством некоторых коллекционеров, когда сформировались их вкусы. Причем более популярны умеренные эстеты "Мира искусств" и постсезаннисты "Бубнового валета", чем, допустим, конструктивисты, как раз вызывающие большой интерес за границей. Малевич, например, очень мало представлен в русских частных собраниях, но это объясняется отчасти тем, что отосланные им в Берлин картины не вернулись на родину.

XIX век представлен в частных собраниях очень полно, есть собрания произведений XVII — начала XIX века; если идти далее в глубь веков, то можно сказать о собраниях русской иконописи. Интерес же к русскому прикладному народному искусству только начинает развиваться. Что касается западноевропейского искусства, то и здесь интересы коллекционеров обрываются самым началом XX века, искусство последних десятилетий представлено только отдельными вещами, и то преимущественно у людей, специально собиранием не занимающихся.

Коллекционеров, которые собирали бы только современное советское искусство, работы еще не умерших и не проверенных

временем художников, к сожалению, очень мало. Некоторые приобретают работы у молодых художников, но большей частью они для них с боку припека. Так что у нас нет или почти нет коллекционеров-меценатов.

”Хотите картину — платите денежки” — ”Охотно, — отвечают коллекционеры, — но сколько именно?”.

Я вспоминаю, как мы с женой приценивались к картине одного из молодых московских авангардистов. Взяв линейку, он тщательно измерил холст и назвал нам цену с точностью до нескольких копеек. Сумма была довольно порядочная, но нас удивила такая скрупулезная точность. Оказывается, художник заранее оценил каждый написанный им квадратный сантиметр и теперь мог без труда устанавливать стоимость любой своей картины.

Но этот безошибочный метод годится не всегда. Как же все-таки оценивать картины, особенно, если художник уже не может это сделать сам? Цена, как известно, определяется имеющимся на рынке спросом и предложением. Но как раз рынка у нас нет. Нет галерей, которые занимались бы продажей картин и других произведений искусства, нет каталогов, нет аукционов. Есть, правда, комиссионные магазины, но через них проходит незначительная часть имеющихся в частных руках произведений искусства, причем только единичные картины или скульптуры XX века. Большинство сделок происходит келейно, и картина переходит из рук старого владельца — будь то художник, его наследник или коллекционер — в руки нового без посредников. Цена также устанавливается произвольным взаимным соглашением, которое, как правило, посторонним неизвестно. Сегодня вы заплатили, допустим, 1000 рублей за посредственную картину Гончаровой, а завтра вам могут предложить хорошую за 500. Многие работы не продаются, а меняются: небольшой холст Ларионова, например, меняют на акварель Кустодиева и рисунок Владимира Лебедева. Русский человек вообще любит меняться — вспомните хотя бы гоголевского Ноздрева — и за вещь, которая ему почему-либо дорога, готов отдать вещи в денежном отношении гораздо более дорогие. Есть значительные коллекции, чуть ли не целиком созданные путем обмена.

Или Запад влияет на нас, или мы сами становимся культурнее и богаче: за последние годы наблюдается очень заметная тенденция повышения цен на картины. Дальнейший рост цен и развитие коллекционирования, а вместе с тем и надежды художников наткаются, однако, на ряд препятствий.

Прежде всего, очень незначительно число коллекционеров. В Москве, городе с почти семимиллионным населением, немногим

более ста коллекционеров. Художников в Москве в несколько раз больше, я имею в виду только живущих, не говоря уж об умерших, которых в основном и собирают.

Второе препятствие — это отсутствие высоких заработков. Кроме того, среди людей со сравнительно высокими заработками почти нет моды на живопись, а уверенность в завтрашнем дне и, напротив, неуверенность в искусстве не заставляют смотреть на картины как на надежное помещение средств. Это имеет ту хорошую сторону, что у нас собирательство носит поэтому гораздо более чистый и некоммерческий характер, чем на Западе. Десять лет назад французский "Журнал любителя искусств" привел данные опроса о причинах приобретения произведений искусства. На помещение капитала указало 24% опрошенных, спекуляцию — 19%, стремление к украшению, подарки и дань моде — 36% и, наконец, любовь к искусству и меценатство — 21%. Конечно, мне трудно в процентах распределить, как обстоит дело у нас, но во всяком случае любовь к искусству стоит на первом месте.

Третье весьма существенное препятствие — это отсутствие помещений. Москва только выходит из жилищного кризиса, далеко не каждый коллекционер имеет отдельную квартиру, а кто имеет — должен все-таки часть ее уделить своей семье, а не только картинам, иконам или фарфору.

" БУБНОВЫЕ ВАЛЕТЫ "

ПУТЕШЕСТВУЮТ ПО СТРАНЕ

Пожилая женщина принесла в комиссионный магазин на Сретенке небольшую картину; холст настолько потемнел, что ничего нельзя было разобрать.

— Нет, пожалуй, мы ее не возьмем, — сказал приемщик.

— Сколько вы хотите за картину? — спросил случайно оказавшийся в магазине коллекционер.

— Ну, рублей десять... — неуверенно ответила женщина.

Когда Яков Рубинштейн показал купленный холст реставраторам, они только посмеялись над ним, сказав, что десять рублей он может отнести на счет частной благотворительности. Вскоре один начинающий реставратор попросил у него ненужный холст для практики.

Неожиданно для всех под слоем потемневшего лака оказался этюд к картине Абрама Архипова "У перевоза на Оке", которая находится в Третьяковской галлерее. Этюд относится приблизительно к 1910 году. Работы Архипова вообще довольно редки, так как большинство картин, которые он считал неудачными, он уничтожал.

— Что же вам так безошибочно подсказало купить этот черный холст? — спросил я Рубинштейна.

— Очевидно, чуть коллекционера. Впрочем, — добавляет он, — в магазине сказали мне, что ранее эта женщина распродала много вещей из чьей-то хорошей коллекции. Впоследствии я обнаружил на подрамнике надпись, что картина из коллекции Рябушинского, известного миллионера и мецената начала века.

Однако, "чуть коллекционера" не всегда так хорошо работает. Яков Евсеевич и его жена вспоминают, что свое русское собрание они начали с картины Коровина — оказалось, что это не Коровин, позднее купили холст Поленова — он оказался копией.

Профессор Рубинштейн и его жена Татьяна Жегалова собирают картины уже пятнадцать лет. Как ни странно, инициатором здесь была жена, а не муж. Все началось с самого простого желания как-то украсить квартиру и перешло затем в серьезное коллекционирование.

Рубинштейны собирают живопись первой трети XX века. Сам он старый петербуржец, с детства любит живопись, и, может быть, естественно, что он собирает живописцев той эпохи, когда формировались его собственные эстетические вкусы. Это было время очень противоречивое и разнообразное по направлениям, и все они нашли отражение в коллекции.

"Младшие" передвижники представлены такими мастерами, как Дубовский и Архипов. "Мир искусства" — тонкими акварелями Бенуа, Добужинского, Головина, Сомова, почти забытого ныне Воропаева; есть интересные работы младшего поколения мирискусников — Богаевского, Григорьева, Митрохина, Чехонина, Серебряковой. Импрессионисты из "Союза русских импрессионистов" представлены пейзажами Грабаря, Мещерина, Петровича. Широко представлены художники "Бубнового вала" — группы, из которой в дальнейшем вышло много новых художественных направлений. Здесь пейзажи Кончаловского, несколько картин Лентулова, Фальк самых разных периодов, Осьмеркин, Шевченко, рисунки Рождественского. В коллекции есть также работы Петрова-Водкина, холсты Павла Кузнецова периода "Голубой розы" и работы других "голуборозовцев" — Сарьяна, Уткина, Карева, Судейкина.

Наиболее авангардистские течения начала века представлены холстами Ларионова и Гончаровой, Малевича, Лисицкого, Поповой, Удадьковой, Чекрыгина, рисунками Татлина и Шагала, советское искусство двадцатых годов — работами Тышлера, Дейнеки, Лабаса, Фаворского, Фонвизина.

Я не хотел этим перечнем дать какое-то подобие каталога, а только показать диапазон интересов коллекционеров. Однако, эта широта не исключает, а наоборот, предполагает каких-то наиболее любимых и собираемых художников. Для коллекции Рубинштейнов — это Михаил Ларионов и Александр Шевченко — своего рода два кита, на которых держится все собрание. Имя первого достаточно хорошо известно и у нас, и на Западе, отчасти потому, что вторую половину жизни он прожил в Париже. Интерес к другому художнику — оригинальному теоретику и своеобразному живописцу — начал развиваться только в последнее время. После вдовы художника, Рубинштейн располагает, пожалуй, самым большим собранием Шевченко.

Свою главную задачу Рубинштейн видит в открытии неизвестных или забытых художников, считая, что в этом скорее проявится лицо коллекционера, чем в собирании уже апробированного, что коллекционеру незачем дублировать музеи. Так, им по-существу, были заново открыты Николай Синезубов и Александр Волков.

Рубинштейн не остается равнодушным ни к одному неизвестному холсту или имени, пока не докопается до их истории. Несколько лет назад одна московская семья предложила ему купить три попорченных грязных холста неизвестных художников за тридцать рублей, пригрозив, что иначе они их просто выбросят. Рубинштейн купил их и отдал реставратору. Один оказался кубистическим пейзажем — какова же была радость Рубинштейна, когда искусствоведы установили, что это работа его любимца Шевченко, причем самая большая в его коллекции (144 × 88 см), в ином случае ему пришлось бы уплатить за нее более тысячи рублей.

В собрании Рубинштейна и Жегаловой есть и очень известные художники. Я обратил внимание на красивый пейзаж, сделанный пастелью в импрессионистской манере.

— Эта картина стоила мне нескольких бессонных ночей, — сказал Яков Евсеевич, — это Клод Моне.

История этой пастели 1909 года из серии "Дама и красные маки" тоже довольно любопытна. В десятых годах ее приобрел на выставке в Париже один из богатых московских купцов. Долгие годы она хранилась у его дочери, и в середине пятидесятых годов, испытывая нужду в деньгах, она предложила Государственному

музею изобразительных искусств купить у нее картину. Музей провел экспертизу и собирался приобрести пастель. Однако в тот момент в одной из газет появилась большая статья с резкими нападками на французский импрессионизм как "упадочное течение". После этого музей деликатно отказался от покупки, сославшись на то, что у музея и без того богатейшее собрание Моне. Владелица картины сдала ее в комиссионный магазин на Арбате, где ее тотчас же захотел купить египетский посол. Однако, не желая, чтобы Моне ушел за границу, директор магазина всячески тянул время, говоря послу, что еще-де проводятся экспертизы, чтобы удостовериться в подлинности картины. Искушенный дипломат отвечал, что ему не нужно экспертизы, он и так купит. Тем временем о картине узнали и русские коллекционеры, в том числе и Рубинштейн, который заходил в магазин каждый день. Директор, которому жалко было расставаться с Моне и на которого наседали с разных сторон, просто не знал, что и делать. Однажды, зайдя, как обычно, в магазин, Рубинштейн увидел, что возле кассы стоят несколько сдатчиков и требуют уплаты денег по квитанциям, а касса почти пуста. По счастью, у него были деньги — и он предложил их директору. "Ну, мы так у вас не возьмем," — сказал директор и выписал расписку, что им получен задаток за картину Моне. Внеся через несколько дней остальные деньги, Рубинштейн получил "Даму с красными маками". От моего вопроса, сколько же именно он уплатил за Моне, он деликатно уклонился.

Я поинтересовался, где и как Рубинштейн приобрел большую часть своих картин. Он ответил, что в основном у родственников художников, а также у других коллекционеров, частью путем обмена.

Как я писал раньше, отсутствие места — бич московских коллекционеров, но сейчас на стенах маленькой двухкомнатной квартиры Рубинштейнов много пустых мест. Большая часть их коллекции — 274 работы 155 художников — уже два с лишним года путешествует по разным музеям страны. Рубинштейнам самим было очень интересно увидеть свою коллекцию выставленной в музеях. "Когда мы ходили по громадным залам таллинского музея, — вспоминают они, — видели развешенные по стенам свои картины, мы иной раз щипали себя, чтобы убедиться, не сон ли это".

Помимо живописи, у Рубинштейнов есть небольшое собрание русской иконы и английского фарфора и фаянса, хотя настоящими собирателями фарфора они себя не считают.

Наиболее интересная коллекция фарфора в Москве принадлежит, пожалуй, Петру Данилову, о собрании которого я расскажу ниже.

КРАСНЫЕ ДРАКОНЫ НА ЛЕСНОЙ УЛИЦЕ

Могло показаться, что революция 1917 года нанесет русскому фарфору непоправимый удар. Частное фарфоровое производство практически прекратилось, а Государственный (быв. Императорский) фарфоровый завод хотя и продолжал работать, оказался в крайне тяжелом положении: большая часть рабочих из-за голода бросила завод и ушла в деревню, кроме того, кончились запасы английского каолина и финляндского шпата и пришлось пользоваться местными материалами более низкого качества.

Тем более поразительно, что годы технического упадка оказались годами наивысшего художественного расцвета русского фарфора. Революционное искусство принесло новые темы и новые формы и вывело художественный фарфор из почти полувековой полосы застоя. Произошел своего рода уникальный синтез современного мироощущения с весьма традиционным рафинированным исполнением, новых "грубых" тем с крайне изысканными и даже жеманными внешними формами. Это создало своеобразный и неповторимый стиль, где сам материал органически соединил почти несоединимое: эстетизм "Мира искусств" и конструктивизм, последние достижения живописи и приемы народного творчества. Здесь — главная заслуга художников завода во главе с Сергеем Чехониным.

Прикладное искусство первых послереволюционных лет замыслилось как агитационно-массовое, и многие фарфоровые тарелки и блюда были украшены портретами большевистских вождей, монограммами "РСФСР" и лозунгами: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!", "Да здравствует власть Советов!", "Мы зажжем весь мир огнем III Интернационала!" Эти лозунги причудливо соединялись с условными фигурами рабочих и гирляндами и букетами цветов, столь привычными на фарфоровых тарелках. Но если искусство было агитационным, едва ли все же оно смогло стать массовым. Это было невозможно уже в силу самой специфики и дороговизны фарфорового производства. В двадцатые годы продукция завода была весьма невелика, и отдельные предметы стоили очень дорого. Так, небольшая статуэтка стоила 7 рублей золотом, что в годы нэпа было весьма значительной суммой.

Таким образом, агитационный фарфор остался достойным узкой группы любителей. Шло время, и без того немногочисленные хрупкие предметы бились или бесследно пропадали, тем более, что время было достаточно суровым к произведениям искусства. Даже в

музее Государственного фарфорового завода и крупнейшем керамическом музее Кусково фарфор послеоктябрьской эпохи был представлен весьма ограниченно. Наиболее интересному периоду русского фарфора грозило забвение.

Однако этого не произошло. В Москве есть коллекция, где советский фарфор двадцатых годов представлен с наивозможной полнотой, причем коллекция эта все время пополняется.

По мнению специалистов, многие вещи в ней являются уникальными и отсутствуют в государственных музеях. Она дает богатейшие возможности для исследователя советского искусства первых лет революции.

Коллекция принадлежит Петру Данилову, сорок пять лет посвятившему собиранию фарфора, живописи, мебели и других произведений искусства. По профессии он инженер коммунального хозяйства, однако с юности, как он говорит, "любил красивые вещи и, собирая их, на них учился". Он учился очень настойчиво, так что его коллекция постепенно приобрела характер как бы сколка с определенных культурных эпох, а не просто собрания красивых, но случайных вещей.

С большой благодарностью он вспоминает Сергея Николаевича Тройницкого, крупнейшего знатока искусства XVIII века, дружба и помощь которого во многом определили его интересы.

Вся коллекция размещена в двух не очень больших комнатах, на Лесной улице, где живет Данилов со своей женой. Среди мебели эпохи Екатерины II и Павла I, портретов пудренных стариков, иранских ваз, хрупких тарелок с красными драконами и мелодичных старинных часов громоздкой и насуспенный хозяин движется с изяществом слона в фарфоровой лавке.

Советским фарфором Данилов начал заниматься в сороковых годах, когда тот был, можно сказать, "в загоне" и никто им особенно не интересовался. Сейчас у него представлено более тридцати художников и скульпторов. Вот сервиз "Черная роза" работы Сергея Чехонина, удивительно совершенного и тонкого рисовальщика, очень чувствующего фарфор. Вот его же блюдо "Печаль" с датой 1921 — год страшного голода в Поволжье. На блюде — женщина, в тоске склоняющая голову. Блюдо — недавнее приобретение Данилова, он дважды ездил за ним в Ленинград и все-таки заполучил в свою коллекцию. Много интересных работ Кобылецкой, Шекатихиной, Потоцкой, Масыгина, Нарбута, Добужинского.

Некоторые тарелки украшены такими надписями: "Пусть, что добыто силою рук трудовых, не проглотит ленивое брюхо" или "Ум не терпит неволи" — это живо вводит в неповторимую атмосферу

двадцатых годов. Есть в коллекции статуэтки Кустодиева, Н. Данько, Кузнецова, Матвеева.

Из западноевропейского фарфора наиболее привлекают внимание два мейсенских сервиза — "Красные драконы" и "Ватто-сервиз". Сервиз "Красные драконы" был сделан по заказу саксонского короля Августа III и так ему понравился, что он распорядился изготовлять сервиз только для королевского двора, лишь в XX веке Мейсенский завод начал массовый выпуск "Красных драконов".

МАСТЕР ГРАВЕР И ЕГО ПОДМАСТЕРЬЯ

В этой статье речь пойдет главным образом о граверах и прежде всего о Фаворском. Владимир Фаворский, его школа и окружение — таков, в основном, круг интересов Эллы и Бориса Денисовых. Любви же к Фаворскому, которого они считают вторым гравером всех времен и народов после Дюрера, способствовало личное знакомство с ним и постоянные беседы об искусстве. Денисов, по образованию и роду занятий преподаватель политэкономии, сам помогал Фаворскому печатать некоторые его гравюры, и подарки художника положили начало коллекции. Заинтересовавшись гравюрой, Денисов начал ходить по ученикам Фаворского и неожиданно для себя наткнулся на его архив, который был похищен у него несколько десятилетий назад и о судьбе которого ничего не было с тех пор известно. Большая часть этого архива так-же перешла к Денисовым, и с тех пор они постоянно приобретают все новые и новые гравюры для своей коллекции. Сейчас у них свыше пятисот подписных листов Фаворского.

Мы вместе просмотрели несколько папок. Вот гравюра 1912 года "Святой Лука" — два оттиска, по которым виден процесс работы. На первом много черного, Фаворский остался неудовлетворен им и продолжал резать — на следующем оттиске черное заменено штриховкой. Дальше я увидел на многих примерах, что ход от черного к светлому вообще характерен для Фаворского. Денисов вспоминает его слова: "Я не всегда берегу черное".

А вот сделанная в 1919 году гравюра с видом Москвы с большим белым пятном. Можно подумать, что это облако, но Фаворский, который незадолго до смерти увидел эту гравюру у Денисовых, рассказал, что в 1919 году у него от голода все время

перед глазами стояло желтое пятно, которое и попало на гравюру. Вот прекрасные гравюры к “Книге Руфь” 1925 года — одни из лучших из всего, сделанного Фаворским.

Резал Фаворский, как правило, на пальмовых досках. Он рассматривал как высокое искусство все три последовательных этапа: рисунок, гравирование и оттиск. Ручной оттиск весьма отличен от машинного, и хорошо его сделать не просто. Для Фаворского характерна очень высокая, почти исключительная мастеровитость: он компоновал рисунок и резал гравюру столь же тщательно и любовно, как какой-нибудь средневековый мастер Мартин бочар делал бочку для архиепископа. Поэтому его вещи так поражают и восхищают художников и знатоков и гораздо менее волнуют непрофессионалов, которые не столько видят рациональный ход мастера, сколько испытывают эмоциональное воздействие художника.

Собрание живописи у Денисовых небольшое, но очень хорошее. Они очень увлекались Павлом Кузнецовым. В их просторной квартире развешено несколько вещей — от ранней работы 1907 года до пейзажа сороковых годов. Так же интересно представлен и Александр Тышлер — от “Девушки, глядящей на аэроплан” 1927 года до фантастических портретов шестидесятых годов. “Уличный фокусник” — так называется картина, наиболее характерная для Тышлера-визионера: с многочисленных ярусом нелепого и чудовищного сооружения какие-то свиные рыла смотрят на чудаковатого и наивного фокусника. Совершенно иные две картины Роберта Фалька, тонкого колориста: ранний пейзаж и натюрморт послепарижского периода. Михаил Ларионов, напротив, представлен двумя допарижскими картинами. Пожалуй, наиболее интересна работа 1907 года “Ресторан на берегу моря”. До революции она принадлежала издателю “Весов” Сергею Полякову и висела у него в редакции в “Метрополе”. Денисовы приобрели ее у известного московского букиниста А.Г. Миронова за 1000 рублей, в то время это казалось невероятной суммой и многие удивлялись отважному поступку Денисовых. Сейчас, конечно, ясно, что картина стоит дороже. Цены, как я уже писал, все время повышаются. За такую примерно картину Тышлера, за какую несколько лет назад они платили 500 рублей, сейчас приходится платить уже 1500.

Денисовы считают, что на русских художников, сложившихся в начале нашего века — особенно на любимых ими М. Ларионова, П. Кузнецова и А. Тышлера — большое влияние оказала икона. Поэтому в их собрании есть несколько интересных вещей, главным образом московской и новгородской школ.

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Александр Котлин (псевдоним) родился в 1905 г. в семье морского чиновника. В прошлом моряк (псевдоним происходит от названия острова, на котором стоит Кронштадт). До Второй мировой войны печатал очерки в советской прессе. Был в немецком плену, перемещенным лицом, в советском концлагере. Стихи его опубликованы Б. Филипповым в сборнике "Советская потаенная муза" (1957).

Леонид Чертков родился в 1933 г. в Москве. Учился в Тартуском университете. Окончил Педагогический институт им. Герцена (Ленинград). В 1957-1962 гг. был в заключении за "антисоветскую пропаганду". В 1974 г. эмигрировал, ныне преподает в Тулузском университете. Автор свыше 150 опубликованных статей по литературе. Одно стихотворение Л. Черткова опубликовано в сб. "Феникс" Ю. Галансковым, когда автор находился в заключении.

Соч. Rilke und Russland. Auf Grund neuer Materialien. Osterreichische Akademie, Wien, 1975. • Gustav Meyrink und Leo Perutz in Russland. Literatur und Kritik. Wien, Juni 1975. • К истории русского масонства. "Оккультизм и йога", № 61, Асунсион (Парагвай), 1976. • Новое о путешествии Кюхельбекера за границу. "Russia", № 3, Einaudi, Torino, 1977. • Ночные путешественники. "Ковчег", № 1, 1978. • Прогулка в сельце Савинском. "Гнозис", № 1, Нью-Йорк, 1978.

Геннадий Айги родился в 1934 г. в селе Шаймурзино (Чувашия). Окончил Батыревское педагогическое училище, Московский Литературный институт (1959). В 1961-71 гг. работал в музее Маяковского в Москве. Лауреат французской премии Prix Paul Desfeuilles за антологию "Поэты Франции XV-XX веков" (на чувашском языке). Чебоксары, 1968.

Подробная библиография дана в сб. "Стихи 1954-1971" (под редакцией В. Казака), Мюнхен, 1975. Приводим лишь важнейшие публикации или не отмеченные в этом издании. Tady (Здесь). Пер. на чешский Ольги Машковой. Прага, "Одеон", 1967. • Zena sprava (Женщина справа). Пер. на словацкий Мирослава Валека. Братислава, 1967. • Beginn der Lichtung (Начала полян). Uebertragen von Karl Dedecius. Frankfurt a. M. Suhrkamp 1971. • Noc pierwszego śniegu (Ночь первого снега). Варшава. PIW 1973. • Gedichte an Gott sind Gebete. Anthologie 1960-1972. Herausgeg. von F. Ph. Ingold und I. Rakusa. Die Arche, Zürich, 1972. • "Change" (Paris) № 14, 1973; №№ 26-27, 28, 1976. • Degré : de stabilité. Trad. par L. Robel. Ed. "Change", P., 1976. • "Грани". № 74, 1970. • "Континент", № 5, 1975. • "Вестник РХД", № 118, 1976. • Поэт и время. Беседа, записанная Зб. Подгужедем. "Russia", № 2, Torino, 1976. • В печати : Festivités d'Hiver. Col. Petite Sirène. Ed. Français Réunis, 1978.

Станислав Красовицкий родился в 1935 г. в Москве. Окончил Институт Иностранных Языков (английское отделение). Один перевод из С. Дэй-Льюиса был опубликован в сборнике институтского литобъединения "Наше творчество" (№ 2, 1958). Несколько стихотворений вошли в "Феникс" (перепечатан в "Гранях", № 52, 1962), Поэма "Выставка" опубликована в "Аполлоне-77" (см. там также статью В. Андреевой). В начале 60-х годов Красовицкий отказался от поэтического творчества.

Михаил Соковнин (1938-1975). Родился в старинной московской семье. В 1963 г. окончил филологический факультет Московского педагогического института. Автор статей по русской драматургии (одна из них опубликована в томе "Литературного наследия", посвященном А.Н. Островскому). Переводчик английской поэзии. Рассказы публиковались в "Русской Мысли" (Париж, 15.12.77) и "Ковчеге", № 1.

Евгений Рейн родился в 1936 г., ныне живет в Москве.

Леонард Данильцев живет в Москве.

Елизавета Мнацаканова родилась в 1922 г. Окончила Московскую консерваторию (фортепиано, теория музыки), училась на филологическом ф-те МГУ, переводчица немецкой поэзии. Эмигрировала в 1975 г., живет в Вене. В "Аполлоне-77" опубликованы "Осень в лазарете невинных сестер" и "Антон Чехов" (см. там же статью А. Рабиновича), в журнале "Время и мы", № 27, 1978 (Тель-Авив) — статья "Искусство и предрассудки". В "Эхе" № 1, 1978 (Париж) — переводы из австрийской поэзии (Ханс Карл Артманн и Пауль Целан). Участвовала в выставке в галерее "Призма" (Вена, апрель-май 1978). Две поэмы и одно прозаическое произведение готовятся к печати в Salzburger Russischer Almanach (Salzburg, 1978), übertr. von Dr. R. Ziegler.

Ольга Черемшанова (Ленинград), см. с. 77

Василий Яновский родился в 1906 г., эмигрировал из СССР в 1920 г. До 1942 г. жил во Франции, доктор медицины Сорбонны, ныне живет в Нью-Йорке. Произведения В.С. Яновского печатались во многих эмигрантских изданиях: "Последние Новости", "Современные Записки", "Числа", "Круг", "Новый Град", "Новоселье", "Опыты", "Воздушные Пути", "Православный Вестник", "Русская Мысль" и др.

Соч. Колесо, повесть. "Новые писатели", Париж, 1930 • Мир, роман. "Парабола", Париж, 1931 • Любовь вторая, повесть. Парижское Объединение Писателей, 1934. • Портативное бессмертие, роман. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1953. • Американский опыт, роман. "Новый Журнал", №№ 12-15, 18-19. • Челюсть эмигранта, роман. Нью-Йорк, 1952 • Гомункулус, пьеса в трех актах. The Third Hour, New York • No Man's Time, a novel, intr. by W.H. Auden, Weybright and Talley, N.Y., 1967 • Of Light and Sounding Brasse, a novel, Vanguard Press, N.Y., 1971 • The Dark Fields of Venus, Harcourt Brace Jovanovitch, N.Y., 1973 • The Great Transfer, Harcourt Brace Jovanovitch, N.Y., 1974 • Medecine, Science and Life. The Paulist Press, N.Y., 1978.

Андрей Амальрик родился в 1938 г. в Москве. Исключен с исторического ф-та МГУ за курсовую работу "Норманны и Киевская Русь". Трижды арестовывался за участие в правозащитном движении и публикацию произведений за границей: в 1965 г. сослан на 16 месяцев, в 1970 г. приговорен к 3 годам заключения, затем срок был продлен, и А. Амальрик провел полгода в лагере и затем полтора года в ссылке в Магадане. Эмигрировал в 1976 г. ввиду угрозы нового ареста. Жил в Голландии, ныне преподает в Вашингтонском университете. Лауреат премии Международной Лиги по правам человека (1976).

Соч. Нежеланное путешествие в Сибирь. Нью-Йорк, 1969 (перев. на 10 языков) • Просуществоет ли Советский Союз до 1984 года? Амстердам. Изд. Фонд им. Гершена, 1969 (перев. на 21 язык) • Пьесы. Амстердам, 1970 • Статьи и письма. Амстердам, 1971 • Нежеланное путешествие в Калугу. "Русская Мысль", Париж, 1, 8, 15.7.1976. • В печати: Норманны и Киевская Русь. Флоренция, Licos, 1978 • Запад и СССР в одной лодке? Лондон, 1978.

2